

МОНТЕВЕРДЕ



ВДОВА для капо

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

УЛЬЯНА СОБОЛЕВА

Ульяна Соболева

Монтеверде. Вдова для Капо

«Автор»

2026

Соболева У.

Монтеверде. Вдова для Капо / У. Соболева — «Автор», 2026

Мой муж мёртв. Я беременна. А могущественная семья Монтеверде уже решает, кому достанется мой нерождённый ребёнок. На похоронах Алессандро на меня смотрят не как на скорбящую вдову, а как на временную оболочку для наследника. После родов ребёнка заберут, а меня отправят обратно — без денег, без имени и без права вернуться. Но появляется Дамиано Монтеверде — старший брат моего мужа и новый капо семьи. Опасный мужчина, чьё слово здесь важнее закона. Он обещает защитить меня и ребёнка. Только у его защиты есть цена: теперь я должна принадлежать ему.

© Соболева У., 2026

© Автор, 2026

Ульяна Соболева

Монтеверде. Вдова для Капо

МОНТЕВЕРДЕ. Вдова для капо

Ульяна Соболева

Глава 1. ЛИНА

Кладбище пахло мокрой землей, лилиями и деньгами.

Деньги тоже пахнут. Не бумажками, не кожаными портмоне и не банковскими сейфами, а властью, которой давно перестали объясняться. Властью, что приезжает на похороны на черных машинах без номеров, выходит под зонты в перчатках из тонкой кожи, целует воздух возле чужих щек и смотрит не на гроб, а на тех, кто остался жив. Считает. Прикидывает. Делит. Решает, кому теперь принадлежит дом, доля в порту, фамилия, женщина и ребенок в ее животе.

Я стояла у открытой могилы Алессандро Монтеверде и понимала, что меня уже делят. Не вслух. Разумеется. Здесь вообще многое не говорили вслух, потому что слова пачкали рот, а Монтеверде предпочитали держать рот чистым даже тогда, когда по их приказу людям выбивали зубы в подвалах рыбного склада. Они молчали красиво. Скорбели дорого. Двигались медленно, будто весь мир должен был подстроиться под ритм их траура, их боли, их семейного проклятия, в котором мне, русской девочке с южным акцентом и дурацкой верой в то, что брак может быть убежищем, отвели роль временной оболочки.

Шесть месяцев беременности.

И ни одного человека рядом, который смотрел бы на меня, а не на живот.

Платье липло к коже. Черное, закрытое, приличное, купленное Изабеллой без моего участия, потому что даже вдовство в этой семье имело размер, фасон и допустимую длину рукава. Ткань туго обтягивала грудь, ставшую тяжелой и болезненной, натягивалась на животе, собиралась под ребрами, и каждый вдох давался так, будто мне в корсет вшили тонкую проволоку. Я не носила корсет. Просто воздух вокруг Монтеверде всегда был таким: дорогим, холодным и сдавливающим.

Лилии лежали на крышке гроба белой, влажной, мясистой грудой.

Я ненавидела лилии. Алессандро любил их так, как любил все, что можно было поставить в вазу, показать гостям и потом выбросить, когда завянет. Он заказывал их в спальню каждую пятницу, и этот запах вгрызался в простыни, волосы, кожу, в мои пальцы,

которыми я потом стирала желтую пыльцу с подоконника. Иногда мне казалось, что муж метит мной дом через цветы: вот здесь жена, вот здесь супружеская кровать, вот здесь приличная картинка, под которой можно спрятать ложь, измены, долги и пустоту.

Теперь лилии лежали на нем.

Справедливо.

Священник говорил о вечном покое, а я думала о том, что Алессандро впервые за три года лежит тихо и не требует от меня улыбаться. В этом было что-то страшное. Не потому что я не любила его. Я любила. Наверное. В какой-то первой, глупой, русской версии себя, где итальянский муж с красивыми руками казался спасением от одиночества, а фамилия Монтеверде звучала как билет в жизнь, которую показывают в дорогих фильмах:

вилла, море, апельсиновые деревья, ужины при свечах, мужчина, который говорит “mia

moglie” так, будто это не клетка, а защита.

Потом я узнала: иногда клетку действительно строят из золота. Просто чтобы птица стыдилась жаловаться.

Ребенок толкнулся мне под ладонь, резко, нетерпеливо, будто тоже задыхался от этого запаха лилий, ладана, мокрой земли и чужих решений. Я положила руку на живот. Держать. Закрывать. Укрыть хотя бы ладонью, хотя бы смешной, беспомощной человеческой кожей от взглядов, которыми меня резали весь день.

Изабелла Монтеверде стояла напротив.

Моя свекровь не плакала. У нее вообще было лицо женщины, которая запретила себе слабость еще в том возрасте, когда другие девочки учились красить губы. Высокая, прямая, седая, в черном, с жемчугом у горла и такой сухой кожей на руках, будто вся кровь в ней давно ушла в фамилию, оставив телу только обязанности. Она смотрела на гроб младшего сына без надрыва, без дрожи, без человеческого растерянного “как же так?”. В ее глазах не было вопроса. Был расчет.

Алессандро умер.

Значит, надо переставить фигуры.

Ее взгляд опустился на мой живот.

И вот тогда мне стало по-настоящему страшно.

Не когда ночью сообщили об аварии. Не когда я увидела его лицо в морге, белое, восковое, чужое, уже без той мальчишеской красоты, которой он так умело прикрывал гниль. Не когда мне дали успокоительное и я выплюнула таблетку в ладонь, потому что беременные женщины в семье Монтеверде не имеют роскоши отключаться. А сейчас. На кладбище. Под дождем. Когда мать моего мертвого мужа посмотрела на моего ребенка так, будто он уже лежит в ее колыбели, под ее гербом, в ее доме, с ее фамилией, а я просто еще не успела понять, что меня в этой картинке нет.

Я сжала пальцы на животе.

Нет.

Никогда.

Только через мой труп, синьора.

Я не сказала этого вслух. Умные женщины не бросают вызов мафии над открытой могилой, когда вокруг стоят вооруженные мужчины, а твой паспорт лежит в спальне дома,

из которого тебя могут не выпустить уже сегодня. Умные женщины улыбаются, опускают глаза и запоминают, кто куда смотрит. Кто с кем шепчется. У кого под пиджаком кобура. Кто пьет. Кто нервничает. Кто считает тебя вещью настолько открыто, что забывает бояться твоей памяти.

Я запоминала.

Леоне, двоюродный брат Алессандро, с влажными губами и пальцами, которые все время трогали запонки. Нервничает. Боится не смерти, а того, что после смерти меняется баланс. Сильвио, толстый дядя с кольцом на мизинце, шепнул кому-то: “после родов”. Я услышала. Не все слово, но достаточно. Бьянка, старая сплетница с глазами падальщика, скользнула взглядом по моей груди, животу, лицу и отвернулась с брезгливой жалостью. Будто я уже испорченный товар.

Я стояла ровно.

Спина болела. Поясницу тянуло так, что хотелось сесть прямо на мокрую землю и завывать, но я не шевелилась. Потому что если я согнусь, они увидят. Если я дрогну, они решат, что можно давить сильнее. Если заплачу, Изабелла погладит меня по голове своей сухой рукой и скажет “бедная девочка” тем голосом, которым на самом деле говорят “ничья”.

А я не ничья.

Я мать.

Смешно, да? Тонкая русская вдова в чужой стране, без семьи, без денег, с мужем в гробу и ребенком под сердцем, решила, что одно слово может защитить ее от клана, который покупал судей дешевле, чем я покупала хлеб в булочной. Мать. Не бронежилет. Не оружие. Не адвокат. Просто слово, у которого нет веса в их документах, но есть клыки в моей крови.

Священник закончил. Земля пошла вниз тяжелыми комьями. Первый удар по крышке гроба прозвучал глухо, как если бы кто-то стукнул по моей грудной клетке изнутри. Я вздрогнула. Совсем чуть-чуть. Но Изабелла заметила. Конечно, заметила. Она вообще замечала только слабости, потому что всю жизнь кормила ими свою власть.

Она подошла после церемонии, когда люди начали расходиться к машинам, оставляя за собой запах дорогих духов, мокрой шерсти пальто и притворной скорби.

— Мужайся, дорогая, — сказала она по-итальянски.

Я уже понимала. Не все. Не быстро. Но достаточно, чтобы слышать яд там, где другие слышали соболезнавание.

Она поцеловала меня в щеку. Губы сухие, холодные, пудровые. Я выдержала. Даже не отстранилась, хотя кожа под ее поцелуем будто покрылась мелкой сыпью.

— Теперь ты должна думать не о себе. Ребенок Монтеверде останется в семье. Так было всегда.

— А мать ребенка? — спросила я тихо.

Изабелла посмотрела мне в глаза.

Вот и все. Один вопрос — и маска на секунду дала трещину. Очень тонкую, почти невидимую. Но я увидела. Под ней не было скорби. Там была сталь. Не блестящая, не красивая, а старая, кухонная, которой режут мясо и не моют сразу, потому что еще пригодится.

— Мать ребенка получит благодарность семьи, — произнесла она. — И свободу. Свободу.

Меня чуть не вырвало этим словом прямо на мокрый мрамор дорожки.

Они отнимут у меня сына или дочь, дадут конверт, билет, может быть, даже охранника до аэропорта, чтобы я не забыла улыбнуться на паспортном контроле, и назовут это свободой. Какая щедрость. Какая цивилизованность. Какая роскошная, вымытая, надушенная мерзость.

— А если мать не захочет такой свободы? — спросила я.

Изабелла улыбнулась.

Не губами. Костями лица.

— Ты устала, Лина. Горе делает женщин резкими. Мы поговорим, когда ты отдохнешь. Мы.

Они любили это “мы”. В нем всегда пряталось “ты”. Ты сделаешь. Ты подпишешь. Ты уйдешь. Ты исчезнешь. Мы решили.

Я хотела ответить. Господи, как же я хотела. Сказать ей, что я не девочка из благотворительного фонда, не тихая русская дурочка, которую можно вывезти, использовать и убрать из семейного альбома. Сказать, что если кто-то протянет руки к моему ребенку, я вцеплюсь зубами, ногтями, всем, что останется от меня после родов. Сказать, что у них у всех здесь слишком красивые шеи для людей, которые так спокойно говорят об отъеме младенца от матери.

Но за спиной Изабеллы я увидела его.

Дамиано Монтеверде.

И все слова застряли у меня в горле, как горячий металлический шар.

Он стоял у кипарисов, чуть в стороне от остальных, будто даже в собственной семье не входил в общий круг, а держал его под прицелом. Черное пальто, черные перчатки, мокрые темные волосы, убранные назад, лицо с резкими скулами и ртом, который не создан был ни для улыбок, ни для просьб. Если Алессандро был красив той мягкой, изнеженной красотой, на которую хочется смотреть в ресторане при свечах, то Дамиано был другим. Его хотелось не рассматривать. От него хотелось отвести глаза, потому что взгляд цеплялся за слишком многое сразу и тянул вниз, в стыд, в жар, в грязную, живую часть тела, которую приличная вдова на похоронах мужа не должна ощущать вообще. Высокий. Широкий в плечах без показной спортивной накачанности, а так, как бывают широкими мужчины, которые не украшают тело, а используют его. В нем не было ни одного мягкого движения. Даже когда он просто стоял, казалось, пространство вокруг

него

напряжено, как мышца перед ударом. Дождь стекал по виску, по щеке, цеплялся за щетину на жесткой челюсти, исчезал в вороте пальто, и я вдруг поймала себя на том, что смотрю, как капля скользнула вниз по его шее. Ниже — туда, где под черной шерстью пальто угадывалась грудь, твердая, широкая, мужская, и живот, плоский не от спорта

ради

зеркала, а от жизни, в которой тело либо служит оружием, либо становится слабым местом. Я никогда не видела его голым. Господи, конечно, не видела. Но тело почему-то дорисовало слишком быстро: темную кожу под рубашкой, жесткие мышцы под ладонями, дорожку волос ниже пупка, член, тяжелый и наглый, как все в этом мужчине, и меня от этой картинки ударило жаром так грязно, что я едва не согнулась.

Смотрю.

На похоронах мужа.

Беременная.

На его брата.

Меня обдало таким стыдом, что на секунду стало жарко даже под октябрьским дождем. Живот свело низко, тягуче, противно-прекрасно, и я впилась ногтями в ладонь, чтобы вернуть себе болью хоть какую-то власть над телом. Соски болезненно сжались под траурным платьем, грудь потяжелела, между бедер появилась влажная, предательская пульсация, от которой хотелось выцарапать себе кожу изнутри. Нельзя. Нельзя так реагировать. Нельзя замечать, как мокрая ткань пальто лежит на его груди. Нельзя думать, каким должно быть это тело без черной шерсти, без дорогого костюма, без всей этой похоронной власти, которой он был обернут, как нож в бархат. Нельзя хотеть знать, как звучит его дыхание у самого уха не во сне, не в пьяном провале, не в мутном обрывке, а наяву, когда его рот опускается ниже и тело уже не может соврать.

Нельзя.

Но тело не спрашивало.

Тело помнило его раньше, чем разум успевал выстроить запрет.

Я видела Дамиано всего несколько раз за три года, и каждый раз после этого злилась на себя так, будто совершала измену не мужу, а самой себе. На свадьбе он сидел в дальнем конце зала, не улыбался и смотрел на меня так, словно у алтаря ошиблись фамилией жениха. На семейном приеме весной он не сказал мне почти ни слова, но весь вечер его взгляд касался меня через стол — не ласково, нет, грязнее, опаснее, будто он снимал не платье, а слои моей защиты, один за другим, задерживался на губах, на шее, на груди, и я чувствовала, как под его взглядом набухают соски, как низ живота стано-

вится

горячим и тяжелым, как трусики влажнеют от одного только чужого молчания. Я потом полночи стояла под душем, терла кожу до красноты и ненавидела себя за то, что вода

стекала между бедер, а тело все равно помнило не мужа, а мужчину напротив. А утром... утром я старалась не вспоминать обрывки, в которых были вино, темная гостиная, мужской голос у уха и мое собственное дыхание, слишком рваное, слишком голодное, слишком не похожее на страх.

Я заперла ту ночь в себе.

И сейчас этот замок треснул от одного его взгляда.

Дамиано смотрел не на Изабеллу. Не на гроб. Не на могилу.

На меня.

Точнее, сначала на живот. Медленно. Без стыда. С такой наглой, спокойной собственнической оценкой, что мне захотелось закрыться руками, плюнуть ему в лицо, ударить, сбежать, спрятаться, и одновременно шагнуть ближе, потому что между нами словно протянули раскаленную проволоку. Она шла от его взгляда к моей коже, под платье, под ребра, туда, где ребенок толкался в темной, теплой глубине моего тела, и я не понимала, что страшнее: то, что он смотрит так на моего ребенка, или то, что от этого взгляда у меня пересыхают губы.

Потом он поднял глаза к моему лицу.

И я перестала слышать кладбище.

Не стало шороха зонтов, голосов, шин по мокрому гравию, даже ударов земли по крышке гроба. Только его глаза. Почти черные, тяжелые, без единого человеческого “мне жаль”. В них вообще не было жалости. Только голод, спрятанный так глубоко, что другой бы не заметил. Но я заметила. Женщины замечают такое кожей. Особенно женщины, которых слишком долго учили быть удобными: они знают разницу между взглядом мужчины, который хочет, и взглядом мужчины, который уже решил, что возьмет.

Дамиано не улыбнулся.

Улыбка была бы милосердием.

Он пошел к нам.

Изабелла повернула голову, и на ее лице впервые появилось что-то живое.

Раздражение. Настороженность. Может быть, страх. Маленький, спрятанный, но я увидела его и жадно ухватила за эту деталь. Значит, даже она не полностью управляла им. Значит, в этой семье был человек, которого боялась сама королева мертвых лилий. Дамиано остановился рядом. Слишком близко. Нарушая все приличия, все траурные дистанции, всю мраморную этику кладбища. От него пахло дождем, табаком, дорогой кожей и чем-то темным, мужским, теплым, неуместным рядом с могилой. Этот запах вошел мне в легкие так резко, что я едва не закашлялась. Он был неприличным.

Физическим. Как рука на голой спине. Как губы, которые еще не коснулись, но кожа уже знает, куда они лягут. Как мужское тело, прижатое к твоему сзади в темноте, когда ты чувствуешь не только грудь у своих лопаток, но и твердый член у бедер, и понимаешь, что отступить уже поздно, потому что тело первым выбрало не спасение, а огонь.

— Мамма, — сказал он.

Всего одно слово. Тихо. Никакой угрозы. Но Изабелла убрала руку с моего локтя так быстро, будто он не произнес, а ударил.

— Дамиано, — ответила она. — Мы говорили с Линой о будущем.

— Нет, — сказал он. — Ты говорила.

Я вдохнула. Слишком резко. Он услышал. Конечно, услышал. Его взгляд на долю секунды скользнул к моему рту, и я возненавидела свои губы за то, что они были влажными от дождя, приоткрытыми, живыми. Он смотрел так, будто мог приказать мне закрыть рот или открыть шире — и оба варианта прозвучали бы одинаково непристойно.

— Это семейный вопрос, — холодно произнесла Изабелла.

— Семья сейчас лежит в земле, — ответил Дамиано и посмотрел на могилу брата без

единого движения лица. — Остальные — активы, обязательства и проблемы.

У меня по коже прошел лед.

Вот он. Настоящий. Не герой чужих женских фантазий, не опасный красавец, не запретный мужчина, из-за которого стыдно жарко внизу живота. Человек, который только

что назвал мертвого брата пунктом в балансе. Который смотрел на свежую могилу так, будто проверял, достаточно ли глубоко закопали ошибку. Который мог говорить о людях языком бухгалтерии и, наверное, спать после этого без снов.

Мне должно было стать легче.

Не стало.

Стало хуже, потому что желание не умерло от отвращения. Оно просто стало грязнее. Темнее. Сильнее. Как будто тело мое не понимало морали, не читало молитв над гробом, не знало, что передо мной стоит страшный человек. Или знало. И именно поэтому реагировало.

— Я не актив, — сказала я.

Голос получился тише, чем хотелось, но не сломался.

Дамиано медленно перевел взгляд на меня. Впервые за все время полностью. Не живот. Не рот. Не шею. Глаза.

— Нет, — сказал он. — Ты проблема.

Изабелла резко вдохнула, будто он оскорбил ее, а не меня. Я почувствовала, как внутри меня поднимается злость. Хорошая. Чистая. Спасительная. Злость всегда лучше страха, потому что в ней есть позвоночник.

— Тогда решайте свои проблемы без меня, синьор Монтеверде.

На секунду мне показалось, что кто-то рядом перестал дышать. Может, Бьянка. Может, Леоне. Может, я сама. Дамиано смотрел на меня, и в его лице что-то едва заметно изменилось. Не смягчилось. Нет. Скорее, стало внимательнее. Как у человека, которому принесли нож и сказали, что это цветок.

— Осторожно, Лина.

Мое имя в его голосе ударило ниже живота.

Не “синьора”. Не “вдова моего брата”. Лина. Так, будто он пробовал его на языке и уже знал вкус. Мне стало стыдно от собственной реакции. Сухо во рту, тесно в груди, колени вдруг стали не совсем моими, и если бы не ребенок, если бы не мокрая земля под ногами, если бы не десятки глаз вокруг, я бы, наверное, отступила.

Но отступать при них нельзя.

— Угроза? — спросила я.

— Предупреждение.

— Разница?

Он наклонился ко мне.

Не сильно. Не так, чтобы это выглядело неприлично для посторонних. Просто сократил расстояние на несколько сантиметров, и этих сантиметров хватило, чтобы воздух между нами стал горячим, плотным, как дыхание под одеялом. Его лицо оказалось ближе, чем было когда-либо наяву, и я увидела тонкий шрам у линии роста волос, темную щетину, каплю дождя на нижней губе. У меня внутри все сжалось в злой, голодный узел. Ненавижу. Ненавижу. Ненавижу.

И хочу, чтобы он отступил.

И чтобы не отступал.

— Угроза, — произнес он почти у моего уха, — это когда я говорю, что сделаю.

Предупреждение — когда даю шанс не доводить меня до этого, cazzo.

Мат прозвучал тихо, по-итальянски, но грязно, с хрипотцой, которая прошла по моей

коже так бесстыдно, будто он провел пальцами по внутренней стороне бедра. Я вздрогнула. Не смогла удержать. Совсем маленькое движение, но он заметил, и уголок его рта дернулся.

Не улыбка.

Хуже.

Знание.

— Дамиано, — вмешалась Изабелла. — Не здесь.

Он не отводил от меня глаз.

— Именно здесь.

И вдруг я поняла: он делает это нарочно. При них. На кладбище. Над гробом Алессандро. Показывает, кто теперь решает мою судьбу. Не мать. Не совет. Не вдовьи приличия. Он. Его голос. Его шаг. Его тень на моем платье. Его власть, которая ложилась мне на плечи тяжелее дождя.

— Машина у ворот, — сказал он уже громче. — Ты едешь на виллу.

— Я поеду домой.

— Нет.

— У меня есть дом.

— Был.

Меня качнуло. Одно слово, а будто выбили воздух из легких.

— Что значит “был”?

Дамиано выпрямился. Провел взглядом по моему лицу, вниз, к животу, снова вверх. Медленно. Беспощадно. Я чувствовала себя раздетой, хотя на мне было черное платье до горла. Даже хуже, чем раздетой: прочитанной. Он видел мой страх за документами, за спальней, за чемоданом, за паспортом, за тем маленьким жалким островком “моего”, который я еще считала своим.

— Дом Алессандро принадлежит семье. Люди семьи уже там. Твои вещи соберут.

— Мои вещи? — Я усмехнулась. Нервно, зло, почти некрасиво. — Как заботливо. А

меня в

коробку не сложите? Для удобства перевозки.

Кто-то из женщин тихо охнул. Изабелла побледнела от ярости. Дамиано... Дамиано посмотрел на мой рот, и в этом взгляде впервые вспыхнуло что-то откровенное. Быстро. Черно. Почти животное.

— Если бы мне нужно было перевозить тебя в коробке, Лина, ты бы уже была в коробке. Вот теперь стало тихо.

По-настоящему.

Даже дождь будто падал мягче, боясь шуметь.

Я смотрела на него и понимала, что он не шутит. Не пугает ради эффекта. Не играет в мафиози из дешевого сериала. Этот мужчина мог положить меня в коробку. Мог отпра-

вить

в багажнике. Мог стереть из документов, из дома, из страны, из собственной жизни. И никто здесь не бросился бы спасти беременную вдову. Максимум — перекрестились бы потом, если бы рядом был священник.

Ребенок толкнулся.

Сильно. Больно. В самое ребро.

Я зажмурилась на секунду, не удержав вдох, и когда открыла глаза, Дамиано смотрел уже не на меня. На мою руку, прижатую к животу. Его лицо стало каменным, но пальцы в черной перчатке едва заметно сжались. Маленькая деталь. Почти ничего. Но я увидела. И еще поняла: ребенок — не просто актив для него. Не только фамилия. Не только клан. Там было что-то еще.

Страшнее.

— Не трогайте меня, — сказала я, хотя он не касался.

— Пока не трогаю.

Сердце ухнуло вниз и разбилось где-то у желудка. Глупое сердце. Не от страха только. От этой наглой, мерзкой, горячей двусмысленности, которую он даже не потрудился спрятать. Я должна была дать ему пощечину. Должна была плюнуть. Должна была назвать его подонком, зверем, мерзавцем, чем угодно.

Но вокруг стояла его семья.

А внутри меня был ребенок.

И я выбрала не гордость. Я выбрала выживание.

— Я хочу забрать паспорт, — сказала я.

— Заберешь на вилле.

Ложь. Такая гладкая, спокойная ложь, что у нее не было ни одной складки, за которую можно зацепиться.

— Телефон?

— Потом.

— Деньги?

— Тебе они не понадобятся.

Я рассмеялась.

Тихо. Коротко. Так, что смех больше походил на трещину в стекле.

— Конечно. Зачем деньги женщине, которую похитили с похорон мужа?

Он наклонил голову.

— Ты очень хочешь назвать это похищением?

— А что это?

— Мое решение.

— Для меня разницы нет.

— Будет.

Он сказал это без злости. Почти спокойно. И именно поэтому стало страшно.

Мужчины, которые кричат, оставляют тебе шанс кричать в ответ. Мужчины вроде Дами-
ано

Монтеверде не повышают голос, потому что не нуждаются в громкости. Их слушают и
так.

Их боятся заранее. Их приказы исполняют до того, как они успевают надоесть.

Он повернулся к Изабелле.

— Никто не входит в ее комнаты без моего разрешения. Никто не говорит с ней о ребенке.
Никто не обсуждает документы. Если кто-то решит проявить инициативу, я отрежу ему
эту

инициативу вместе с рукой.

Сильвио кашлянул. Леоне опустил глаза. Бьянка перекрестилась так быстро, будто
пыталась спрятать жест в складках черной шали.

Изабелла смотрела на сына с ненавистью, которую не могла себе позволить.

— Ты переходишь границы.

— Я их рисую.

Господи.

Меня выворачивало от него. От его спокойствия, от жестокости, от того, как
естественно он говорил такие вещи, будто обсуждал погоду. И одновременно я не могла
не слышать другое: он только что запретил им трогать меня. Не из жалости. Не из
благородства. Из собственности. Из власти. Из желания самому решать, кто имеет право
подойти к клетке.

Клетка оставалась клеткой.

Но хищники вокруг нее отступили.

И это было еще одним видом ужаса.

Дамиано снова посмотрел на меня.

— Идем.

— Я еще не попрощалась.

— Прощайся.

Он стоял рядом, пока я повернулась к могиле. Не отошел. Не дал мне даже этой минуты полностью. Его присутствие давило на спину, на затылок, на кожу между лопатками, и я чувствовала его так остро, будто он действительно положил туда ладонь. Может быть, поэтому прощание с Алессандро вышло коротким и злым.

Прости, если можешь.

И гори в аду, если не можешь.

Я не знала, к кому из нас двоих это относится.

Когда я сделала шаг, нога скользнула на мокром камне. Каблук поехал в сторону, тело дернулось вперед, живот потянуло вниз, и я успела только вдохнуть, прежде чем сильная рука схватила меня за локоть.

Дамиано.

Его пальцы сомкнулись поверх черной ткани. Не больно. Точно. Железно. Так держат не женщину, а оружие, которое нельзя уронить. Я почувствовала его тепло через платье, через кожу, через злость, и это тепло ударило в меня ниже всякой морали. Грудь налилась тяжестью, соски болезненно сжались под тканью, во рту стало сухо, и я на секунду возненавидела не его. Себя.

Он тоже почувствовал.

Я поняла по его дыханию. По тому, как на миг застыла рука. По темной щели зрачка, расширившейся так быстро, что у меня подкосились колени уже не от скользкого камня. Между нами было полшага, дождь, смерть, ребенок, фамилия его брата и столько запретного, что воздух должен был загореться.

— Осторожнее, vedova, — сказал он низко.

Вдова.

Не Лина. Не синьора. Вдова.

Слово прозвучало грязно. Как прозвище. Как клеймо. Как напоминание: твой муж в земле, а моя рука на тебе.

Я выдернула локоть.

— Не называйте меня так.

— Почему?

— Потому что вам нравится.

Он посмотрел на меня долго. Слишком долго для кладбища. Слишком открыто для мужчины, который только что похоронил брата. И потом произнес тихо, так, чтобы слышала только я:

— Мне много что в тебе нравится. Это не значит, что тебе стоит об этом знать.

У меня внутри что-то оборвалось.

Не романтично. Не красиво. Грязно, резко, с тошнотой и жаром, будто меня толкнули в темную воду, где уже ждали чьи-то руки. Я шагнула назад, но он не дал отойти далеко. Не коснулся. Просто оказался рядом снова, перехватив пространство быстрее, чем я успела им воспользоваться.

— Вы больной.

— Нет, Лина. Я честный. Это хуже.

— Вы стоите над могилой брата.

— Я помню.

— Тогда ведите себя как человек.

Он наклонился чуть ближе. В его глазах не было стыда. Вообще. Ни капли. Только темная, взрослая, страшная усталость человека, который давно перешел все линии и теперь не видит смысла притворяться, что они существуют.

— Человек? — переспросил он. — В этой семье людей хоронят до того, как они начинают мешать. Так что выбирай слова осторожно, piccola. Сегодня день, когда все очень нервные.

Piccola.

Маленькая.

Меня тряхнуло от злости.

— Я не маленькая.

Его взгляд опустился на мой живот, потом на грудь, слишком быстро, чтобы это можно было назвать разглядыванием, и слишком медленно, чтобы я не почувствовала.

— Вижу.

Пощечина просилась в ладонь. Горела там, зудела, требовала выйти. Но я снова выбрала ребенка. Выбрала не дать им повода. Не сейчас. Не здесь.

Я пошла к воротам сама, не дожидаясь, пока он снова возьмет меня за локоть.

Машина стояла у кладбищенской ограды: черная, длинная, с глухими стеклами.

Похоронный кортеж уже расходился, но я кожей чувствовала взгляды в спину. Все видели.

Все поняли. Русскую вдову забирает капо. Не мать мужа. Не адвокат. Не водитель. Дамиано.

Он открыл дверь сам.

Не галантно. Не по-джентльменски. Так, как открывают сейф, куда сейчас положат ценность. Или улику.

Я остановилась перед ним.

— Я вас ненавижу.

Слова вылетели тихо, почти спокойно, но внутри меня они были криком. Дамиано посмотрел на меня сверху вниз, и дождь стекал по его лицу, а губы оставались сухими, жесткими, почти жестокими.

— Хорошо.

Я моргнула.

— Хорошо?

— Ненависть держит на ногах лучше страха.

— Вы говорите так, будто заботитесь.

— Нет. Я говорю так, будто знаю.

На секунду между нами возникла странная тишина. Не мягкая. Не человеческая.

Скорее, опасная пауза перед выстрелом, когда палец уже на спуске, но пуля еще внутри ствола. Я вдруг поняла, что Дамиано тоже не пустой. Не только власть, не только угроза, не только дон в черном пальто. В нем было что-то сломанное и зацементированное сверху такой толщей контроля, что пробивать ее можно было только кровью.

И это понимание испугало меня сильнее его угроз.

Потому что чудовищ ненавидеть легко.

С мужчинами сложнее.

Я села в машину. Кожаный салон пах им. Не просто одеколоном — присутствием. Табак, дождь, нагретая кожа, оружейное масло, еле уловимая горечь кофе. Запах мужчины, который не просит разрешения занимать пространство. Он сел рядом, и машина будто стала меньше. Воздух сжался. Мое колено находилось в нескольких

сантиметрах от его бедра, и эти сантиметры были издевательством. Я смотрела прямо перед собой, но боковым зрением видела его руку на колене: длинные пальцы, крупные костяшки, черная перчатка снята, кожа смуглая, сухая, сильная. Рука, которая могла подписать приказ. Сломать шею. Держать женщину за подбородок. Вытереть слезу. Развести бедра одним спокойным движением. Заставить замереть, не повышая голоса. Коснуться там, где стыдно даже думать о чужом брате мертвого мужа, и точно знать, насколько ты мокрая, раньше, чем ты сама успеешь это признать.

Господи, зачем я подумала последнее?

— Пристегнись, — сказал он.

— Сама справлюсь.

Я дернула ремень. Он заел. Конечно. В самый прекрасный момент моей жалкой войны с миром. Я дернула еще раз, резче, злее, и живот неприятно потянуло. Дамиано не спросил. Просто наклонился.

— Не надо...

— Молчи.

Я замерла.

Он оказался слишком близко. Его плечо почти касалось моей груди, рука прошла перед животом, не задев, но я почувствовала движение воздуха от его пальцев через ткань платья. Запах ударил в голову. Табак. Дождь. Мужчина. Порок. Я вжалась в сиде-

нье,

но уйти было некуда. Его лицо на секунду оказалось у моей шеи, и мне показалось, что он тоже задержал дыхание. Моя грудь предательски поднялась навстречу его плечу, соски вжались в ткань платья твердыми болезненными точками, а между бедер снова стало влажно, горячо, постыдно — так, будто мое тело не понимало, что мы едем с похорон, а не в постель. Я ненавидела каждую эту реакцию. Ненавидела его за то, что он ничего не сделал, а я уже чувствовала себя почти тронутой.

Ремень щелкнул.

Звук был маленький.

А внутри меня будто захлопнулась дверь.

Дамиано не сразу отстранился. Его взгляд задержался на моей шее, там, где под кожей бешено бился пульс, потом скользнул ниже — на грудь, которую не могло скрыть даже траурное платье, на живот, на мои сжатые бедра. Я знала, что он видит. Знала, что он понимает. И от этого унижения у меня защипало глаза. Он не коснулся. Но в его лице на долю секунды проступило такое темное, грубое желание, что я поняла: если бы не ребенок, не кладбище за стеклом, не мертвый брат между нами, он бы не спрашивал у этого воздуха разрешения. Он бы взял мой рот и заставил меня замолчать совсем другим способом.

— Не смотрите.

— Тогда перестань дрожать.

— Я замерзла.

— Лжешь.

Сволочь.

Я повернула к нему лицо. Близко. Слишком близко. Настолько, что могла увидеть темные точки в радужке и тонкую белую линию старого шрама у виска.

— А вы перестаньте делать вид, что забираете меня ради ребенка.

Он не ответил сразу.

Машина тронулась, кладбище поплыло за стеклом серыми пятнами, и мне вдруг стало так страшно, что пальцы сами легли на живот. Я уезжала не с похорон. Я уезжала из последнего места, где еще могла быть вдовой Алессандро. Дальше я становилась кем-то

другим. Пленницей. Проблемой. Женщиной в доме Дамиано Монтеверде.
Он посмотрел на мою руку.

Потом на меня.

— Ты правда хочешь знать, зачем я тебя забираю?

Горло сжалось. Я не хотела. Хотела. Не могла не хотеть.

— Да.

Дамиано наклонился так близко, что его голос коснулся моего уха не звуком — кожей. Низко. Грязно. Спокойно. И в этой спокойной грязи было больше похоти, чем в чужих руках на голом теле. Его дыхание прошло по мочке, вниз по шее, туда, где пульс бился как пойманная птица, и я вдруг отчетливо представила его рот ниже — на ключице, на груди, на соске, который уже ныл под платьем, — и его руку между моих бедер, не нежную, а точную, наглую, знающую, как проверить мое предательство одним движением пальцев. — Потому что если я оставлю тебя им, они заберут ребенка и выкинут тебя из страны. А если я оставлю тебя себе, vedova, ты хотя бы будешь знать, чья рука держит ключ от твоей клетки.

Я закрыла глаза.

На секунду.

Всего на секунду.

И в темноте перед глазами увидела не гроб Алессандро. Не лилии. Не мокрую землю.

Его руку.

Ключ.

И клетку, в которую я только что вошла сама.

Когда я открыла глаза, Дамиано уже смотрел в окно, будто ничего не сказал. Будто не вывернул мне душу, не залез под кожу, не оставил там свою метку первым же днем моего вдовства.

Я прижала ладонь к животу и прошептала по-русски, почти беззвучно:

— Я тебя не отдам. Слышишь? Не отдам.

Дамиано не повернулся.

Но ответил.

По-русски.

С акцентом, грубовато, неправильно мягча согласные, но достаточно ясно, чтобы у меня кровь стала ледяной:

— Посмотрим, Лина.

И вот тогда я поняла: я не просто попала в клетку.

Клетка уже знала мой язык.

Глава 2. ДАМИАНО

Мой младший брат сдох в день, когда впервые сделал для семьи что-то полезное: освободил место.

Жестокая мысль. Грязная. Неправильная для человека, который три часа назад стоял у могилы, слушал, как священник обещает Алессандро вечный покой, и смотрел, как земля глухо бьет по крышке гроба. Но я давно перестал врать себе там, где ложь ничего не меняла. Алессандро был красивой ошибкой нашей крови. Любимчиком матери. Мяг-

ким

ртом на фамильном лице. Слабым звеном в цепи, которую пять поколений Монтеверде ковали из страха, денег, предательства и чужих костей.

Он улыбался женщинам, проигрывал деньги, врал так легко, будто у него во рту вместо языка лежал шелк, и каждый раз, когда мир пытался поставить ему счет, приходил

ко мне.

Дамиано, реши.

Дамиано, поговори.

Дамиано, это недоразумение.

Недоразумения в нашем мире обычно находили утром в багажниках, в доках, в воде или вообще не находили. Я решал. Говорил. Закрывал долги, стирал следы, покупал врачей, судей, полицейских, священников, чужое молчание и собственную брезгливость. Не потому что любил брата. Любовь в семье Монтеверде была роскошью для тех, кто не сидел во главе стола. Я делал это потому, что фамилия не должна была кровоточить на людях.

Теперь фамилия кровоточила беременной русской вдовой.

И я хотел ее.

Вот так просто. Вот так мерзко. Вот так без права спрятаться за долг, клан, ребенка, безопасность и прочую удобную херню, которой мужчины вроде меня прикрывают животную правду. Я хотел Лину еще до того, как она стала вдовой. Еще когда она стояла у алтаря рядом с моим братом в белом платье, с тонкой шеей, с испуганной русской гордостью во взгляде, и Алессандро держал ее руку так, будто ему дали новую игрушку, а я сидел в дальнем конце зала и понимал: если сейчас встану, подойду и скажу “пойдем”, она, может быть, не пойдет.

Но весь мир узнает, что я хотел, чтобы пошла.

Я не встал.

Я умею не вставать. Не брать. Не трогать. Не убивать тех, кого хочется убить, если их смерть в данный момент неудобна для дела. Контроль — не добродетель. Это инструмент. Самый дорогой и самый скучный. Отец вбивал мне его кулаками, ремнем, головой об мрамор, пока я не научился держать лицо даже тогда, когда во рту кровь, а ребра хрустят от вдоха.

Сегодня лицо я держал.

Руки — хуже.

За столом в каминной зале сидели двенадцать человек, которые называли себя семьей. На самом деле это была комиссия хищников, собравшаяся вокруг недоеденного тела. Пахло кофе, воском, мокрой шерстью дорогих пальто и мясом, которое подали на поминальный ужин, будто в этом доме даже смерть обязана сопровождаться хорошей кухней. Огонь в камине отражался в бокалах, на кольцах, в глазах матери, и этот свет делал всех чуть живее, чем они были на самом деле.

Я сидел во главе стола. Не потому что был старшим сыном. Старшинство ничего не значит, если у тебя нет силы заставить остальных помнить об этом каждое утро. Я сидел там, потому что люди, которые спорили со мной за это кресло, давно перестали спорить вообще.

Мать сидела справа.

Изабелла Монтеверде хоронила сына так же, как играла в шахматы: без слез, без лишних движений, с холодным уважением к потере фигуры. На ней было черное платье с высоким воротом, жемчуг, тонкие перчатки и лицо, которым можно было останавливать детей, собак и слабых мужчин. В детстве я думал, что она не умеет плакать. Позже понял: умеет. Просто слезы она считала валютой, а тратить валюту на мертвых — плохая сделка. — Русская должна родить под наблюдением семьи, — сказала мать. — После этого вопрос с ней будет закрыт.

Закрыт.

Хорошее слово. Аккуратное. Им можно закрыть дверь, счет, рот, дело, гроб. Мать любила такие слова. Они позволяли не произносить настоящие: выслать, отнять, стереть,

уничтожить.

Я смотрел на пламя и видел не огонь.

Линию ее шеи под дождем.

Лина стояла на кладбище в черном платье, которое слишком честно обтягивало ее беременное тело, и держалась так ровно, будто позвоночник ей заменили тонким клинком. Бледная. Злая. Испуганная до тошноты, но не согнутая. Моя мать говорила с ней

о будущем, а она смотрела так, как смотрят женщины, которые уже мысленно вцепились зубами в чужую руку. Маленькая русская вдова, у которой заберут все, если она даст слабинку хотя бы на вдох.

Она не дала.

И когда я подошел, ее тело предало ее раньше глаз. Я увидел. Всегда вижу. Как она задержала дыхание. Как губы на секунду стали мягче. Как пальцы сжались на животе, будто она защищала ребенка не только от семьи, но и от меня. Как злость поднялась в ней вслед за жаром. Это было самое опасное в Лине: она не была святой. Не была холодной. Не была мертвой внутри удобной вдовьей боли. Она чувствовала меня.

И ненавидела за это себя.

Я тоже ненавидел.

Но себя я ненавидел давно и без особого интереса.

— После родов, — продолжила мать, — ей предложат деньги. Дом в России. Охрану на первое время, если понадобится. Никаких скандалов. Никаких судов. Никаких материнских истерик. Ребенок останется здесь.

Леоне усмехнулся в бокал. Мерзкая маленькая ухмылка человека, который еще не понял, что его рот сегодня работает в кредит.

— Если русская начнет визжать, ее можно отправить раньше, — сказал он. — Ребенка выносит и без прогулок по саду. Врачи сейчас многое умеют.

Я повернул голову.

Он замолчал не сразу. На полсекунды позже, чем следовало.

В комнате стало тише.

Я смотрел на Леоне и думал о том, что у некоторых людей в голове вместо мозга лежит теплая каша из похоти, зависти и семейной безнаказанности. Леоне был из таких. Он любил легкие деньги, молодых официанток, кокаин на зеркале и разговоры о жестокости, пока жестокость не вставала из-за стола и не подходила к нему.

— Повтори, — сказал я.

Он побледнел.

— Я просто имел в виду...

— Нет. — Я положил ладони на стол. Спокойно. Без удара. Удар был бы милосердием, а я сегодня был не в настроении раздавать милость. — Повтори дословно.

Мать закрыла глаза. Сильвио откашлялся. Бьянка уставилась в тарелку, будто там могла спрятаться от чужой глупости. Леоне сглотнул. Его кадык дернулся под кожей, жирный, влажный, живой.

— Дамиано, я сказал лишнее.

— Ты сказал то, что подумал.

— Это не имело значения.

— В моем доме значение имеет даже дыхание, если оно мешает мне слушать.

Я встал. Стул не скрипнул. Я не люблю шумных вещей. Люди и так достаточно шумные, когда им больно.

Леоне попытался подняться тоже, но замер, когда я оказался рядом. Он был ниже меня, рыхлее, слабее, но всю жизнь считал себя мужчиной только потому, что носил

фамилию Монтеверде и оружие под пиджаком. Фамилия не делает мужчину. Оружие тоже. Мужчину делает способность понимать цену своих слов до того, как тебе ее выставят.

— Положи руку на стол, — сказал я.

— Дамиано...

— Руку.

Он посмотрел на мать. Ошибка. В этом доме, если я уже стою рядом с тобой, смотреть надо только на меня. Может быть, тогда выживешь чуть красивее.

— Сын, — произнесла Изабелла холодно. — Не на поминках брата.

— Именно на поминках брата, — ответил я. — Чтобы все запомнили, что мертвый Алессандро не сделал русскую общим мясом.

Слово упало на стол грязно. Мясо. Я видел, как дернулась Бьянка, как Сильвио отвел взгляд, как мать стала белее своей жемчужной нити. Хорошо. Пусть слышат. Пусть подавятся.

Леоне медленно положил руку на стол.

Я взял его указательный палец и сломал.

Не сильно. Не эффектно. Просто согнул туда, куда человеческие пальцы не должны сгибаться. Хруст прозвучал сухо, почти деликатно, как если бы кто-то раздавил тонкую ветку. Леоне заорал. Наконец-то честный звук за весь вечер. Он дернулся, но мои пальцы держали его кисть, и второй хруст вышел громче.

— Тихо, — сказал я.

Он всхлипнул, зажал рот другой рукой и осел в кресле. Пот выступил у него на лбу крупными каплями. Глаза налились слезами. Взрослый мужчина, мафиозная кровь, золотые часы, дорогой костюм — и весь его гонор вытек через сломанный сустав за три секунды.

— Еще раз назовешь ее русской так, будто это грязь, — произнес я, наклоняясь к нему, — я вырву тебе язык и пришью к члену. Будешь думать перед тем, как говорить, cazzo.

Никто не пошевелился.

Я выпрямился. Взял салфетку. Вытер пальцы, хотя крови не было.

Не люблю, когда на коже остается чужой страх.

— А теперь продолжим, — сказал я и вернулся на место.

Мать смотрела на меня так, будто я только что осквернил семейный алтарь. Забавно.

В этом доме были комнаты, где люди умоляли о смерти, подвалы, где плитка впитала столько крови, что ее меняли каждые полгода, сейфы с фотографиями судей в позах, за которые рушатся карьеры, но осквернением почему-то считался сломанный палец за поминальным столом.

— Ты теряешь контроль, — сказала она.

Я почти улыбнулся.

— Нет, мамма. Я показываю, где он находится.

— Из-за нее?

Вот теперь в комнате действительно стало опасно.

Из-за нее.

Два слова, которые мать произнесла слишком точно. Она не знала всего, но старые женщины с властью не обязаны знать факты, чтобы чувствовать смещение воздуха.

Изабелла видела, как я смотрел на Лину на кладбище. Видела, как запретил им говорить с ней о ребенке. Видела, что я забрал вдову не в гостевой дом, не к дальним родственникам, не под надзор женщин семьи, а на виллу. К себе. Внутрь стен, где каждый коридор слушался моего приказа.

— Из-за ребенка, — ответил я.

Ложь прозвучала ровно. Убедительно. Почти идеально.

Внутри меня что-то тихо рассмеялось.

Ребенок.

Мой ребенок.

Это знание жило под кожей уже несколько месяцев и не давало спать нормально. Оно не было радостью. Радость — слишком чистое слово для того, что я чувствовал, когда Алессандро позвонил мне поздней весной, пьяный, счастливый, захлебывающийся своим идиотским восторгом:

“Брат, Лина беременна. Представляешь? Я стану отцом.”

Я тогда молчал семь секунд.

Семь.

За семь секунд можно вытащить пистолет. Передумать. Убить. Простить. Разрушить город. Я успел только вспомнить медицинское заключение, которое держал в руках восемь лет назад.

Азооспермия. Необратимая. Фертильность — ноль.

У моего брата в семени были не наследники, а маленькое кладбище.

Я знал это. Врачи знали. Потом врачи перестали знать, потому что я купил одного, запугал второго, а третьему объяснил, что молчание продлевает жизнь эффективнее витаминов. Алессандро не знал. Мать не знала. Семья не знала. В мире Монтеверде мужчина без возможности зачать наследника превращался не в больного, а в позор. А позор у нас не лечили. Его прятали, пока могли, а потом закапывали.

Я спрятал.

И эта ложь вернулась ко мне в теле Лины.

В ее животе.

В ее глазах на кладбище, когда она прошептала по-русски “не отдам”, а я ответил ей на ее языке, потому что да, маленькая вдова, клетка уже знает твой язык. Я выучил достаточно русских слов за годы дел с портами, оружием и северными партнерами, но никогда они не звучали во мне так грязно, как когда касались ее. Ее имя вообще стало отдельным языком. Лина. Два слога. Мягкая ловушка для зубов.

Я налил себе виски.

Не выпил.

Смотрел, как янтарная жидкость дрожит в стакане, и вместо огня видел другую ночь.

Весенний прием у матери. Конец апреля. Белые скатерти, лимонные деревья в кадках, музыка, гости, женщины с открытыми плечами, мужчины с закрытыми мыслями.

Алессандро напился быстрее, чем обычно, потому что проиграл больше, чем мог признать, и весь вечер цеплялся за Лину под столом — пальцами в ее колено, в бедро, в ткань платья, как ребенок, который боится, что игрушку отнимут. Я видел, как она терпела.

Сидела ровно. Улыбалась, когда к ней обращались. Отводила взгляд, когда его рука становилась слишком настойчивой. Потом выпила вино. Потом еще. Потом таблетку от мигрени, потому что у нее побелели губы и дрожали ресницы от боли.

Я должен был уйти.

Я часто думаю, что все самое страшное в жизни начинается не с действия, а с того момента, когда ты не уходишь.

Ночь опустилась на дом густо, как черная ткань. Гости разъехались. Мать исчезла в своих комнатах. Алессандро унесли спать двое слуг, потому что мой брат умел быть благородным только в вертикальном положении, а в горизонтальном превращался в бессмысленное тело с запахом алкоголя.

Лина осталась в зимнем саду.

Я нашел ее у стеклянной двери, выходящей на террасу. Босая. Тонкая. В светлом платье, которое соскользнуло с одного плеча, открывая кожу у ключицы. Волосы распались по спине, и в полумраке она казалась не женой моего брата, а чужой ошибкой, которую Бог оставил у меня на пути, чтобы проверить, насколько глубоко я уже провалился.

— Вам нельзя быть здесь одной, — сказал я.

Она обернулась не сразу.

Глаза затуманены. Не пустые. Не спящие. Не мертвые. Живые, слишком живые, с вином, болью, обидой и тем отчаянным блеском, который появляется у женщин, когда

они

устали быть правильными.

— А с вами можно? — спросила она.

Я должен был ответить “нет”.

Должен был позвать служанку. Отвести ее в комнату. Оставить у двери и больше никогда не подходить ближе, чем требует семейный этикет.

Я подошел.

— Со мной опаснее.

Она усмехнулась. Слабо, криво, почти по-детски дерзко.

— В этом доме все опасно. Даже цветы.

Лилии. Она ненавидела лилии еще тогда. Я узнал это по тому, как она отодвинула вазу на столике, будто цветы могли укусить. Странная деталь. Ненужная. Но именно такие детали почему-то остаются в памяти крепче, чем крики.

Мы говорили. Не помню о чем. О России. О море. О том, что Алессандро не любит тишину. О том, что она иногда забывает слова на итальянском и делает вид, что поняла, потому что устала объяснять свою чуждость. Ее речь расплзлась мягче обычного, но мысли держались. Она не была без сознания. Не была вещью. Не была телом, которое можно взять и потом списать на вино.

Вот почему моя вина хуже.

Я не могу сказать себе, что не знал.

Знал.

Она была уязвима. Пьяна. Расстроена. Одинока. Но когда я коснулся ее щеки, она не отшатнулась. Она закрыла глаза и прижалась к моей ладони так, будто ждала этого прикосновения слишком долго, и у меня внутри сорвало что-то с петель. Не сердце. У меня нет таких простых органов для литературы. Скорее клетку, где сидело все, что я держал под замком с ее свадьбы.

— Не надо, — сказал я.

Сам себе.

Ей.

Богу, если он решил послушать в доме Монтеверде.

Лина открыла глаза.

— Тогда уходите.

Я не ушел.

Она поняла.

Господи, как она поняла. В ее взгляде вспыхнул страх, но не тот страх, от которого бегут. Другой. Тот, который появляется на краю пропасти, когда человек смотрит вниз и ненавидит себя за желание шагнуть. Она подняла руку и коснулась моей рубашки. Двумя пальцами. Едва. У меня тогда все тело стало жестким от этого почти невинного касания. Не член даже первым среагировал, хотя он тоже, проклятый, налился так резко, что боль ударила в пах. Нет. Сначала среагировала кожа. Ребра. Горло. Ненормальное желание

наклониться и вдохнуть ее у самого рта.

— Я не должна, — прошептала она.

— Не должна.

— И вы не должны.

— Я меньше всего в этой комнате похож на человека, который делает только то, что должен.

Она рассмеялась. Тихо. Сломанно. Потом заплакала. Одна слеза прошла по щеке, и я стер ее большим пальцем, хотя имел право только отрубить себе руку за это движение. Ее кожа была горячеей, влажной, живой. Она дрожала. Не от холода.

— Скажите мне уйти, — произнес я.

Это была последняя дверь.

Я дал ей ручку.

Она могла открыть.

Лина смотрела на меня снизу вверх, с распухшими от вина и слез губами, с болью в глазах, с этой своей тонкой злостью на весь мир, который загнал ее в чужой дом, в чужой брак, в чужую постель, и прошептала:

— Не уходите.

Все.

После этого у ада тоже есть логика.

Я помню не только механику. Механика — для дешевых исповедей, где мужчины называют грех красивыми словами, чтобы не видеть, как выглядит их грязь. Но тело, сука, помнит именно механику, и мое тело помнило все: ее рот под моим ртом — сначала испуганный, потом злой, потом голодный; ее пальцы на моей рубашке, когда она потянула меня ближе сама, неумело, почти сердито, будто хотела доказать не мне, а себе, что еще способна выбирать; ее грудь, тяжелую от дыхания, соски, твердые под тонкой тканью платья, когда я провел ладонью по ребрам и остановился там, где должен был остановиться навсегда. Не остановился. Платье задралось под моими пальцами, бедро оказалось горячим, гладким, живым, и когда я прижал ее к стене зимнего сада, мой член был таким твердым, что боль в паху стала почти злостью. Лина вцепилась в мои плечи, выгнулась, выдохнула мое имя так, будто сама не поняла, что сказала, и это имя ударило хуже приказа.

Я помню, как она шептала “нельзя” мне в рот, а потом сама же раскрывала губы шире. Помню, как ее колено скользнуло по моему бедру, как пальцы дрожали у меня на затылке, как она вздрогнула, когда моя ладонь легла между ее ног поверх влажной ткани, и как я почувствовал эту влажность — прямую, постыдную, настоящую, разбивающую любую попытку назвать происходящее только моим безумием. Она хотела. Да. И это не спасало меня ни от чего. Потому что хотеть в ту ночь было проще, чем понимать. Она была в вине, боли, одиночестве, в своей злости на чужой дом и мужа, который трогал ее за столом как вещь. А я был трезвый. Я слышал каждую ее паузу, видел каждый провал в ресницах, понимал, что утром она может проснуться с дырой вместо памяти. И все равно я целовал ее шею, сжимал ее бедро, слушал, как она ломается на дыхании, и думал только о том, что если сейчас оторвусь, то, наверное, убью кого-нибудь, лишь бы не чувствовать, как она мокнет под моей рукой.

Потом была не нежность. Не любовь. Не та чистая херня, которой прикрывают грехи люди с бедной фантазией. Было тело о тело, мое колено между ее бедер, ее ладони у меня на груди, мои пальцы на ее соске, который напрягался от каждого касания так резко, будто боль и удовольствие в ней были одной струной. Был ее рот у моего уха, ее “не уходите” уже не как просьба, а как падение. Был я, который должен был остановиться, когда она сказала это второй раз, третий, когда я почувствовал, что она окончательно

перестала держаться за берег. Я должен был. Я не остановился.

Нельзя.

Но еще.

Вот и вся правда о людях.

Мы часто знаем, где находится пропасть. Просто иногда называем падение выбором.

Утром она не помнила меня полностью.

Это я тоже увидел. За завтраком. Ее взгляд задержался на мне на секунду дольше, чем нужно. Тревога. Стыд. Обрывки. Тело помнило, разум нет. Или разум закрыл дверь, чтобы она могла продолжать жить рядом с Алессандро и не сойти с ума. Мой брат шутил, что жена перебрала вина и русские женщины плохо переносят итальянские праздники. Она бледнела. Я пил кофе и молчал.

Потому что я был трусом.

Не в бою. Не перед смертью. Не перед врагами.

Перед ней.

Проще отдать приказ убить человека, чем сказать женщине: это был я. Это мои руки.

Мой рот. Мой голос. Мой грех в твоём теле.

А теперь этот грех шевелился под её сердцем.

— Дамиано, — голос матери разрезал воспоминание, как нож мокрую ткань. — Ты молчишь.

Я поднял взгляд.

За столом все ждали. Леоне держал сломанную руку у груди и тихо поскуливал. Пусть.

Полезный звук. Напоминает остальным, что слова имеют кости.

— Русская останется на вилле, — сказал я.

— До родов, — уточнила мать.

— Я сказал то, что сказал.

Сильвио осторожно поставил бокал.

— Клан должен понимать порядок, Дамиано. Ребенок — кровь Монтеверде. Если женщина начнет претендовать...

— Женщина уже претендует. Она мать.

Я произнес это слово и почувствовал, как оно неприятно застряло в комнате. Мать.

Для них это была функция. Для Лины — война. Я видел её ладонь на животе. Слышал русское “не отдам”. Такие женщины не подписывают отказ тихо. Они могут улыбнуться, взять ручку и воткнуть её тебе в глаз, если ты поставишь бумагу слишком близко.

Меня это бесило.

И заводило.

Да, черт побери, заводило. Её сопротивление било по мне сильнее её покорности в ту ночь. Тогда она была мягкой от вина, боли и запретного голода, податливой там, где уже не должна была быть податливой, и я до сих пор ненавижу себя за то, что помнил её влажность на пальцах яснее, чем собственные оправдания. Сегодня она стояла у могилы мужа и смотрела на меня так, будто уже выбирала место, куда ударить, если я подойду к ребенку. И мой член снова тяжёлся от этого взгляда, от этой ненависти, от её “не отдам”, от того, как черное платье обтягивало грудь и живот, от мысли, что под траурной тканью её тело все равно живое, горячее, беременное моим грехом. Мне хотелось схватить её за подбородок и заставить повторить это “не отдам” мне в рот. Хотелось услышать, как ненависть ломается на дыхании. Хотелось развести её бедра не там, не тогда, не у могилы, конечно, я ещё не окончательно превратился в животное, но мысль была такой грязной, что я почти почувствовал вкус её кожи на языке. Хотелось довести её до той точки, где она перестанет понимать, где заканчивается страх и начинается желание.

И именно поэтому я должен был держать руки при себе.

Пока.

— Ты слишком много позволяешь ей, — сказала Изабелла.

— Я позволяю ей дышать.

— Не путай милость со слабостью.

— Не учи меня словам, значение которых я узнал от тебя.

Мать замолчала.

В детстве она могла ударить за такую фразу. Сейчас у нее остались только глаза. У хорошей матери глаза греют. У моей — замораживали мясо быстрее холодильника.

— Ты защищаешь ее, — произнесла она.

— Я защищаю то, что принадлежит семье.

— А она?

Вопрос был тоньше лезвия. Она? Что она для тебя, Дамиано? Вдова брата?

Носительница ребенка? Ошибка? Добыча? Женщина, которую ты хочешь так очевидно, что даже мертвые в склепе начали ворочаться?

Я взял стакан и наконец выпил виски. Алкоголь прошел вниз горячей полосой, но не согрел. Меня уже грело другое. Гнев. Память. Грязная, неуместная тяга к женщине, которую я должен был держать на расстоянии, если хотел сохранить хоть какие-то остатки

порядка.

— Она проблема, — сказал я. — А проблемы в этом доме решаю я.

— И как ты ее решишь?

Я посмотрел на мать.

Потом на остальных.

Каждый за этим столом хотел услышать простую формулу: родит, подпишет, исчезнет.

Они все жили простыми формулами, потому что сложные чувства мешают зарабатывать

и

убивать. Но я больше не мог позволить им думать, что Лина — открытая бумага, на которой любой старший родственник вправе поставить печать.

— С сегодняшнего дня, — произнес я, — Лина живет в восточном крыле. Охрана меня-

ется каждые шесть часов. Без моего разрешения к ней не входит никто. Ни женщины семьи.

Ни

врач. Ни священник. Ни ты, мамма.

Изабелла медленно выпрямилась.

— Ты запрещаешь матери видеть вдову собственного сына?

— Я запрещаю Изабелле Монтеверде трогать то, что она уже начала делить.

В комнате кто-то втянул воздух.

Мать не шелохнулась. Только пальцы сжались на краю стола, и жемчужина на кольце поймала отблеск камина.

— Ты пожалеешь об этом.

— Встанешь в очередь.

Я поднялся.

Совет закончился. Не потому что все было решено, а потому что я решил достаточно.

Остальное они будут обсуждать в коридорах, спальнях, церквях и чужих постелях, как всегда. Пусть. Страх хорошо держит людей на поводке, но сплетни помогают им чувствовать себя живыми.

Я вышел из каминной залы и остановился в коридоре.

Мрамор под ногами был холодным. Дом после похорон звучал иначе. Тише. В нем исчез один голос, но пустоты не стало. Алессандро никогда не занимал много места. Даже

мертвым он оставил после себя не дыру, а пятно, которое придется выводить долго.
Я пошел к восточному крылу.

Не надо было.

Разумеется, я пошел.

Одиннадцать шагов до поворота. Двадцать три до лестницы. Еще четырнадцать до коридора, где уже стоял охранник. Я знал свой дом по звукам, расстояниям, сквознякам и местам, где камеры видят чуть хуже. Теперь я считал дорогу к ее комнате так, будто это была траектория пули.

У двери Лины горел приглушенный свет.

Охранник вытянулся.

— Синьор.

— Она?

— В комнате. Не выходила.

Я хотел спросить, плакала ли. Не спросил. Не потому что мне было все равно. Потому что если бы он ответил “да”, я бы, возможно, вошел. А если бы вошел сейчас, в черном костюме, с ее запахом еще живым в памяти, с виски в крови и злостью на всю свою семью, то не знал, что сделаю первым: прикажу ей есть, заберу ее паспорт или прижму к двери и проверю, помнит ли тело то, что забыл разум.

— Уйди, — сказал я охраннику.

Он исчез.

Я остался перед ее дверью один.

За деревом было тихо. Но тишина не значит пустота. Я слышал почти ничего и чувствовал слишком много: слабое движение, то ли шаг, то ли ткань; ее дыхание, может быть, придуманное мной; собственный пульс в пальцах. На двери не было замка с моей стороны. Пока. Я мог открыть. Войти. Сказать: ты в безопасности. Сказать: ребенок будет жить. Сказать: я не позволю им забрать его.

И солгать уже в первой фразе.

Потому что рядом со мной никто не был в безопасности.

Особенно она.

Я поднял руку и коснулся двери костяшками пальцев. Не постучал. Просто коснулся. Дерево было холодным.

— Спи, vedova, — произнес я тихо.

Она не могла услышать.

И слава богу.

Потому что в этом слове было слишком много чужого. Вдова брата. Мать моего ребенка. Женщина, которую я взял пьяной, желающей, живой, но слишком уязвимой, чтобы потом иметь право на спокойный сон. Моя проблема. Моя вина. Моя будущая война.

Я ушел в кабинет.

Открыл сейф. Достал старую папку, которую не трогал восемь лет. Медицинская бумага пахла пылью и предательством. Я развернул заключение Алессандро и снова прочел строки, которые знал наизусть.

Азооспермия.

Необратимая.

Нулевая вероятность естественного зачатия.

Я положил документ рядом с пистолетом. Бумага и оружие. Две вещи, которые в моем мире убивали одинаково надежно, если попадали в правильные руки.

Потом сел за стол, налил еще виски и посмотрел на темное окно, в котором отражался мужчина с лицом капо, руками убийцы и памятью о женщине, которую он не имел права

хотеть. Хотеть — слишком слабое слово. Я хотел ее так, что тело превращалось в отдельного врага: член стоял от одного воспоминания о ее дыхании, ладони помнили вес ее бедер, рот — соль ее кожи, пальцы — влажную ткань между ног, и вся эта физиология была мерзкой, честной, неубиваемой. Я мог спрятать анализы, купить врачей, сломать Леоне палец, поставить охрану у ее двери. Но не мог приказать собственному телу забыть, как Лина сказала “не уходите” и выгнулась мне навстречу в доме моего брата. После родов, сказала мать.
После родов, думала семья.
После родов, боялась Лина.
Я усмехнулся, и в этой усмешке не было ничего человеческого.
После родов ничего не закончится.
Потому что ребенок был мой.

Глава 3. ЛИНА

Вилла Монтеверде не была домом.
Дома не смотрят на тебя сотней темных окон, пока машина ползет по подъездной аллее между кипарисами, похожими на похоронную процессию, которая забыла, кого несет. Дома не встречают тебя коваными воротами высотой с двухэтажное здание, камерами под карнизами, вооруженными мужчинами в черном и собаками, которые не лают, а молча провожают машину глазами, будто уже запомнили твой запах на случай, если ты решишь бежать. Дома не забирают твое имя у входа, не переваривают его в фамильный титул и не выплевывают обратно в виде холодного “синьора Монтеверде”, от которого внутри становится пусто, как в комнате, где вынесли мебель, но оставили следы на полу.
Вилла была клеткой.
Просто очень дорогой. Очень старой. Очень красивой клеткой, построенной людьми, которые поняли главное: если золотить прутья достаточно долго, пленники начинают стыдиться желания свободы.
Я сидела в машине рядом с Дамиано и не смотрела на него.
Это было единственное, что я могла себе позволить. Не смотреть. Не поворачивать голову на его профиль, резкий в полумраке салона; не отмечать, как пальцы без перчатки лежат на колене, спокойные, сильные, с коротко подстриженными ногтями; не вспоминать, как эта рука перехватила меня на кладбище, когда я поскользнулась, и как тепло его ладони прошло через ткань платья так бесстыдно, будто платье вообще ничего не значило. Я смотрела в окно на мокрые кипарисы, на белый камень стен, на фонари вдоль дорожки, и считала вдохи.
Один.
Два.
Три.
Не дрожать.
Ребенок толкался низко, беспокойно, будто тоже чувствовал, что мы въезжаем в чужую пасть. Я положила ладонь на живот и заставила пальцы не вцепляться. Нельзя показывать страх. Страх в доме Монтеверде, наверное, пахнет так же отчетливо, как кровь. Они должны чувствовать его из соседних комнат, из-за закрытых дверей, через мрамор, через шелк, через все эти фамильные портреты с мертвыми глазами, которыми здесь наверняка увешаны стены.
— Дыши ровнее, — сказал Дамиано.
Я вздрогнула, потому что он молчал всю дорогу от кладбища, и его голос в тишине

салона прозвучал слишком близко. Низко. Хрипло. Не громко, но так, будто воздух перед тем, как попасть в мои легкие, сначала спрашивал у него разрешения.

— Не командуйте моим дыханием, — ответила я.

— Тогда не дыши так, будто собираешься потерять сознание.

— Разочарую вас. В обмороки не падаю.

— Хорошо.

— Почему?

Он повернул голову. Медленно. Взгляд скользнул по моему лицу, опустился к губам, задержался на шее, где пульс бился под кожей как ненормальный, и вернулся к глазам. Мне стало жарко от этой спокойной, грязной точности. Он не раздевал меня взглядом. Хуже. Он будто проверял, где я выдаю себя первой.

— Ненавижу поднимать женщин с пола, если они падают не от удовольствия.

Грязь его фразы ударила в меня поздно, через секунду, когда смысл уже прошел по коже и собрался внизу живота тугим, постыдным комком. Я резко отвернулась к окну. Дождь превращал стекло в мутное зеркало, и в нем я увидела свое лицо: бледное, злое, с темными кругами под глазами и губами, которые я слишком сильно сжала, чтобы они не дрожали.

— Вы отвратительны.

— Знаю.

— Вас это не оскорбляет?

— Нет. Меня оскорбляет глупость. Правда — редко.

Я хотела ответить. Что-нибудь едкое, острое, чтобы разрезать эту его наглую уверенность, но машина остановилась у главного входа, и передо мной раскрылась вилла.

Белый камень. Широкие ступени. Тяжелые двери из темного дерева с железными накладками. Балкон второго этажа, похожий на ложу в театре, где зрители давно умерли, но все еще смотрят. По обе стороны входа стояли мужчины. Не слуги. Охрана. Я уже научилась различать. Слуги стараются быть незаметными. Охрана старается, чтобы ты заметила именно то, что должна: рост, плечи, кобуру, отсутствие сомнений.

Дамиано вышел первым.

Я не стала ждать, пока он подаст руку. Открыла дверь сама, слишком резко, почти ударив ею по воздуху, и выбралась наружу, придерживая живот. Каблуки скользнули по мокрому камню. На секунду перед глазами вспыхнуло кладбище, его пальцы на моем локте, слово “vedova” у уха, и я злая до тошноты выпрямилась, не дав себе пошатнуться. Не трогай меня.

Пожалуйста, не трогай.

Господи, почему тело слышит вторую просьбу громче первой?

Дамиано стоял рядом и видел все. Не помог. Не подхватил. Просто смотрел с таким выражением, будто позволил мне выиграть маленькую битву, потому что уже купил всю войну.

— Гордая, — сказал он.

— Беременная, — парировала я. — Это разные диагнозы.

Его рот едва заметно дернулся.

— Русские женщины всегда спорят с похитителями у порога?

— Только когда похитители плохо воспитаны.

— Я хорошо воспитан.

— Тогда где цветы, шампанское и вежливая просьба войти?

Он подошел ближе. Не вплотную, нет. Дамиано вообще не нуждался в лишних сантиметрах, чтобы вторгаться. Он умел стоять так, что расстояние между вами

превращалось не в безопасность, а в издевательство. Я почувствовала его запах сквозь влажный воздух: табак, холодная кожа, горький кофе и что-то металлическое, как монета на языке.

— Цветы ты ненавидишь, шампанское тебе нельзя, а просьбы я оставляю людям, у которых нет власти приказать.

Вот так.

Буднично.

Как будто он не сказал: я могу.

Как будто не поставил между нами еще одну решетку.

Я посмотрела на него снизу вверх и почувствовала, как злость выпрямляет мне позвоночник лучше любого корсета.

— Тогда приказывайте, синьор Монтеверде. Я же должна знать, как правильно изображать благодарную пленницу.

Его глаза потемнели.

Не от гнева. От интереса.

Мне стало страшно именно тогда. Не когда у ворот щелкнул замок. Не когда охрана разошлась в стороны. А когда я увидела, что мои зубы ему нравятся. Что моя злость не отталкивает, а заводит какую-то тихую, опасную часть в нем. Мужчины, которым нравятся

покорность, проще. Их можно обмануть поклоном. Дамиано нравилось сопротивление. И это означало, что он будет давить до тех пор, пока не услышит хруст.

— Войди в дом, Лина, — сказал он. — Пока я прошу красиво.

Красиво.

Да уж.

Красиво у него звучало так, будто за следующей фразой стоял подвал.

Я вошла.

Холл виллы проглотил меня тишиной и холодным мрамором. Высокий потолок, лестница с черными перилами, тяжелая люстра, стены цвета старой кости, огромные вазы, в которых стояли ветви без цветов. Спасибо хоть на этом. Цветы здесь, наверное, тоже знали, что лучше не пахнуть. На стенах действительно висели портреты. Мужчины с одинаковыми темными глазами и руками, сложенными так, будто даже художник боялся нарисовать их расслабленными. Женщины с гладкими лицами и тонкими губами. Дети в кружеве, которым уже на полотне было не по себе.

Семейная история Монтеверде смотрела на меня со всех сторон.

И ни один взгляд не был добрым.

Навстречу вышла женщина лет шестидесяти, сухая, строгая, в темном платье, с ключами на тонком серебряном кольце у пояса. Глаза у нее были такие, какие бывают у людей, давно служащих сильным хозяевам: не слепые, нет, наоборот, слишком зрячие, но с хорошо отрезанной совестью.

— Синьора Монтеверде, — сказала она и слегка наклонила голову. — Я Аделаида. Домоправительница.

Я не исправила ее. Не сказала, что синьора Монтеверде лежит где-то в семейном склепе под слоем жемчуга и яда, а я просто Лина, женщина без телефона, без права выбирать дорогу и с ребенком, которого уже записали в наследство.

У меня не было сил тратить правду на прислугу.

— Проводите ее в восточное крыло, — сказал Дамиано.

Аделаида кивнула.

— Доктор Альфредо придет утром. В комнату поставить воду, еду и список препаратов. Она будет есть каждые три часа.

Я повернулась к нему.

— Простите?

Он даже не посмотрел на меня сразу. Заканчивал распоряжение, будто я была мебелью, которую нужно правильно поставить.

— Если будет отказываться, сообщишь мне.

— Синьор, — кивнула Аделаида.

— Я здесь, — сказала я.

Теперь он посмотрел.

— Вижу.

— Тогда разговаривайте со мной, а не обо мне.

— Когда мне понадобится ваше мнение, я спрошу.

Кровь ударила в лицо. Такая яркая, горячая, что даже пальцы покалывало. Я почувствовала, как ребенок снова шевельнулся, и это удержало меня на месте, потому что без этого движения я бы, наверное, сделала глупость. Подошла бы. Ударил. Вцепилась бы ему в лицо ногтями, как дикая кошка, и он бы перехватил мои запястья, прижал, наклонился...

Стоп.

Нельзя додумывать.

Нельзя позволять воображению продолжать там, где должна быть ненависть.

— А если мое мнение не совпадет с вашим приказом? — спросила я.

— Значит, у нас будет долгий вечер.

Аделаида опустила глаза. Охранник у двери отвел взгляд. А я стояла в мраморном холле и чувствовала, как двусмысленность его фразы пачкает мне кожу. Долгий вечер. С его голосом. С его властью. С его телом в дверном проеме. С моей злостью, которую он, кажется, хотел довести до дрожи.

— Не мечтайте, — сказала я тихо.

— Я не мечтаю, Лина. Я планирую.

Он развернулся и ушел в левый коридор, оставив меня с открытым ртом, сухим горлом и ненавистью, которая дрожала внутри так сильно, что ее легко можно было перепутать с желанием. Нельзя. Ненависть не должна быть горячей. Она должна быть холодной, чистой, удобной, как нож. А моя ненависть к Дамиано была похожа на лихорадку: от нее ломило кости, пересыхали губы и хотелось то ли убежать, то ли подойти ближе и проверить, сгорит ли кожа, если коснуться его голыми руками.

Меня проводили вверх.

Восточное крыло оказалось длинным коридором с приглушенным светом, коврами, по которым шаги исчезали, и дверями, слишком одинаковыми, чтобы не запоминать их специально. Я считала. От лестницы до моей комнаты — двадцать шесть шагов. От моей двери до поворота — одиннадцать. Камера под потолком у бронзового светильника. Еще одна — возле окна в конце коридора. Два охранника: один у лестницы, второй внизу, я слышала голос по рации. На третьей двери справа царапина у ручки. На пятой — другой замок. У моей двери ключ повернулся снаружи только для проверки, но я услышала звук механизма и занесла его в память, как в блокнот.

Комната была большой.

Слишком большой для человека, которого хотят успокоить.

Высокие потолки, кровать с темным изголовьем, тяжелые шторы цвета запекшейся вишни, камин, низкое кресло, ванная за белой дверью. На столике уже стоял поднос: вода, нарезанные фрукты, суп в фарфоровой чаше, хлеб, маленькая миска с чем-то зеленым. Забота. Они называли это заботой. Я видела форму клетки: чем мягче подушка, тем труднее доказать, что ты не гостья.

Аделаида поставила мою сумку на кресло.

— Ваши вещи привезут позже.

— Мои вещи из моего дома?

— Из дома синьора Алессандро, — поправила она.

Конечно.

Даже дом у меня отняли грамматически.

— Паспорт, — сказала я. — Он в прикроватной тумбе. Его должны привезти вместе с вещами.

Аделаида сложила руки перед собой.

— Документы будут переданы синьору Монтеверде для хранения.

— Для хранения?

— Для вашей безопасности.

Я медленно вдохнула. Воздух пах воском, свежим бельем и чужой властью.

— Телефон?

— Также.

— Деньги?

— Вам здесь ничего не понадобится.

Мне хотелось рассмеяться. Или закричать. Или взять чашу с супом и швырнуть в стену, чтобы белый фарфор разлетелся, а зеленоватый бульон стекал по дорогим обоям как плевок. Но я не сделала ничего. Только смотрела на Аделаиду и понимала, как именно у женщины забирают жизнь в богатых домах. Не кулаком. Не ножом. Не мешком на голову.

Вежливо.

Через “для вашей безопасности”.

— А если я захочу уйти? — спросила я.

Аделаида посмотрела на меня почти с жалостью.

— Ночью ворота закрыты, синьора.

— А днем?

— Днем тоже.

Вот и все.

Ключ повернулся.

Не в двери. Во мне.

Я кивнула. Спокойно. Даже улыбнулась. Мягко, устало, как улыбаются вдовы, которые благодарны за суп, воду и роскошный номер в тюрьме.

— Спасибо, Аделаида.

Она вышла.

Дверь закрылась.

Я осталась одна.

И только тогда позволила себе согнуться.

Не заплакать. Нет. Слезы были бы слишком легкой роскошью. Я согнулась вперед, уперлась ладонями в колени и несколько секунд просто дышала ртом, потому что носом не получалось. Живот мешал согнуться сильнее, ребенок толкался, платье давило на грудь, и весь мир вдруг стал размером с эту комнату, где не было ни одного моего предмета. Ни книги. Ни расчески. Ни старой резинки для волос. Ни маминого сообщения

в

телефоне. Ничего, что подтверждало бы: Лина, ты существовала до них.

Телефон.

Мама.

Я представила ее кухню в Ростове, старую скатерть, чайник со сколом на носике, ее

руки в муке или в креме, потому что она всегда что-то пекла, когда нервничала. Представила, как она смотрит на экран, где от меня нет сообщений. Как думает: похороны, бедная девочка, ей тяжело. Как не знает, что ее бедная девочка стоит в итальянской мафиозной вилле без паспорта, без денег, без возможности набрать номер. Нельзя плакать.

Если я начну, я утону.

Я выпрямилась.

Сняла туфли. Мрамор под босыми ступнями был холодным, почти болезненным, и эта боль помогла. Я начала ходить. От кровати до окна — пятнадцать шагов. От окна до ванной — девять. От двери до камина — тринадцать. Окно выходило во внутренний двор.

Внизу фонтан без воды, два охранника у арки, кусты лавра, стена, за стеной темнота.

Решетка на окне была декоративной только для идиотов: тонкие завитки складывались в красивый узор, но прутья уходили в камень глубоко, надежно, навсегда.

Я считала и запоминала.

Потому что пока я считаю, я не жертва.

Я разведка.

Пока я запоминаю, у меня есть оружие.

Память.

Голова.

Ребенок под сердцем, ради которого я должна стать страшнее, чем они привыкли видеть в женщинах.

Я переоделась ближе к полуночи. В шкафу уже висели вещи, которых я не покупала: длинные сорочки, халаты, мягкие платья, белье в коробках с тонкой бумагой. Размеры подходили. Даже белье. Особенно белье. Я долго смотрела на черный шелковый комплект, на кружево, на чашечки, рассчитанные на грудь, изменившуюся от беременности, и у меня по коже пошли мурашки не от холода.

Он знал.

Или приказал узнать.

И то, и другое было мерзко.

Я выбрала самую закрытую сорочку. Кремовую, с длинными рукавами, мягкую, почти монашескую по сравнению с остальным. Но беременность делала даже скромную ткань предательской: грудь все равно натягивала верх, соски проступали при каждом движении,

живот выступал вперед, бедра стали мягче, тяжелее, и я смотрела в зеркало на свое тело, которое уже не принадлежало только мне, и думала, что именно такое тело они считают сосудом. Еще хуже было понимать, что это тело не только носило ребенка. Оно реагировало. Оно помнило мужской взгляд, мужской запах, жар чужого дыхания у шеи и, кажется, было готово предать меня даже здесь, в закрытой сорочке, перед холодным зеркалом.

Сосуд.

Мясо.

Будущая мать без прав.

Нет.

Я подошла к двери и нажала на ручку.

Открылась.

Коридор был полутемным, тихим, с тонкой полосой света у пола. У двери стоял охранник. Тот самый широкий мужчина с лицом мебельного шкафа, которого я видела у лестницы. Он повернул голову.

— Синьора?
— Я хочу пройтись.
— Сейчас поздно.
— Я заметила. Темнота обычно намекает.
Он моргнул. Видимо, сарказм не входил в его инструкции.
— Перемещение по вилле ночью ограничено.
— Для моей безопасности?
— Да.
Я усмехнулась.
— У вас здесь все для моей безопасности. Паспорт забрали для безопасности, телефон забрали для безопасности, деньги забрали для безопасности. Может, еще и рот зашьете? Чтобы я случайно не подавилась собственным мнением.
Он молчал.
Не потому что не понял. Потому что понял приказ: не спорить, не объяснять, не вступать. Быть стеной.
Я шагнула вперед.
Он шагнул поперек.
Не тронул. Просто закрыл проход телом. В этом доме мужчины умели отнимать свободу без прикосновения. Наверное, их этому учили с детства вместе с молитвами и чисткой оружия.
— Отойдите, — сказала я.
— Не могу.
— Можете. Ноги у вас есть.
— Приказ синьора Монтеверде.
Вот оно. Имя как замок. Имя как намордник. Имя как рука на горле.
Я уже открыла рот, чтобы ответить, когда услышала шаги.
Не быстрые. Не громкие. Но коридор сразу изменился. Стал меньше. Теснее. Теплее. Даже воздух будто перестал принадлежать стенам и перешел в собственность того, кто шел к нам из темноты. Мой желудок сжался раньше, чем я увидела его. Тело, предательское, умное, проклятое тело, узнало Дамиано по ритму шагов.
Он вышел из полумрака без пиджака.
Рубашка черная, расстегнута на две верхние пуговицы. Рукава закатаны до локтей. На предплечьях — темные волосы, вены, сильные сухие мышцы, не красивые в салонном смысле, а рабочие, опасные, созданные не для того, чтобы позировать, а чтобы держать, ломать, прижимать, убивать. На запястье часы. Никаких украшений. Никакой мягкости. Только мужчина, который среди ночи шел по собственному дому так, будто все двери в мире открываются от его взгляда.
Мне пересохло во рту.
Стыдно.
До тошноты стыдно.
Потому что я заметила не только это. Я заметила треугольник кожи в расстегнутом вороте. Темную щетину на челюсти. След усталости под глазами. То, как ткань рубашки натянулась на груди, когда он остановился. И то, как его взгляд прошел по мне.
Не торопясь.
Волосы. Лицо. Горло. Грудь под закрытой сорочкой, которая внезапно перестала казаться закрытой вообще. Живот. Босые ноги. Пальцы на мраморе.
Он не улыбнулся.
Но я почувствовала себя голой.
— Уйди, — сказал он охраннику.

— Синьор...

Дамиано даже не повернул головы.

— Я сказал, уйди.

Охранник исчез так быстро, будто его смыло тенью.

Мы остались вдвоем.

Коридор стал неприлично узким.

— Не спится? — спросил Дамиано.

— Ваш дом плохо убаюкивает.

— Это не дом.

— Правда? А я боялась, что только мне кажется, будто это мавзолей с отоплением.

Его взгляд задержался на моих губах.

— У тебя острый язык, vedova.

— Не называйте меня так.

— Тогда не веди себя так, будто твое вдовство — единственный щит.

Я шагнула к нему. Зря. Очень зря. Но злость толкнула сильнее разума.

— А что у меня еще осталось? Паспорт? Телефон? Деньги? Дом? Может быть, право выйти в коридор без разрешения?

— У тебя остался ребенок.

— Именно. И поэтому я еще стою здесь, а не пытаюсь выбить окно стулом.

— Решетка крепче стула.

— Я уже проверила.

Вот теперь он почти улыбнулся.

Почти.

И это “почти” оказалось опаснее настоящей улыбки, потому что в нем не было радости. Только хищное удовольствие от того, что я не сидела тихо в углу, не рыдала в подушку, не изображала благодарную гостью.

— Хорошая девочка, — сказал он.

Меня словно ударило.

— Что?

— Проверяешь выходы. Считаешь шаги. Смотришь на камеры. Думаешь, кто из охраны слабее. Правильно делаешь.

Я почувствовала, как по спине прошел холод.

— Вы наблюдали?

— Это мой дом.

— Это не ответ.

— Это единственный ответ, который тебе нужен.

У меня затряслись пальцы. Не от страха только. От ярости. От унижения. От понимания, что он видел меня в комнате, ходящую босиком от стены к стене, видел, как я трогала решетку, как смотрела в шкаф, как, возможно, задержала взгляд на белье, которое он приказал купить. Мою панику. Мое дыхание. Мои попытки не распасться.

— Вы больной, — прошептала я.

— Нет. Я внимательный.

— Это называется иначе.

— В моем мире это называется выживать.

Он сделал шаг.

Я отступила.

Спина уперлась в стену.

Не сильно. Не драматично. Просто холодный камень под лопатками, его тело в двух шагах, тишина вокруг и внезапное, дикое понимание, что если он сейчас подойдет ближе,

мне некуда будет уйти. Формально он не держал меня. Физически не коснулся. Но пространство уже принадлежало ему. Он забрал его так же, как забрал паспорт: без рывка, без шума, просто решив.

— Я хочу позвонить маме, — сказала я.

Голос был ровным. Почти.

— Нет.

— Она не знает, где я.

— Знает, что ты у семьи мужа.

— То есть в аду. Отлично. Так и напишем в открытке.

— Твоя мать далеко. Ее страх тебе не поможет.

— А ваш поможет?

Он подошел еще на шаг.

Теперь я видела, как поднимается его грудь при вдохе. Слышала тихий шорох ткани.

Чувствовала тепло его тела, и это тепло било по мне хуже холода стены. У меня под сорочкой болезненно сжались соски, грудь стала тяжелой, кожа под тонкой тканью будто проснулась вся сразу, а между бедер потянуло влажным, постыдным спазмом, от кото-

рого

хотелось сжать ноги и одновременно умереть от стыда. Я замерла, потому что испугалась, что он заметит.

Он заметил.

Конечно, заметил.

Его взгляд стал тяжелее. Темнее. Не сорвался вниз откровенно, нет. Он был слишком опытен для грубого разглядывания. Просто задержался на моем лице в тот момент, когда реакция выдала меня всю. Глаза. Дыхание. Пульс. Стыд. Тело, которое снова предало меня перед ним и, кажется, не собиралось извиняться.

— Ты дрожишь, — сказал он.

— Замерзла.

— Лжешь второй раз за вечер.

— Считаете?

— Всегда.

— Тогда посчитайте, сколько раз я сказала, что ненавижу вас.

— Один.

— Я исправлюсь.

— Не сомневаюсь.

Он поднял руку.

Я дернулась.

Он остановился.

Это было хуже прикосновения. Потому что он увидел. Мой испуг. Мое ожидание. Мою готовность к тому, что мужчина возле стены может сделать что угодно, а я беременная, босая, без телефона, в его доме, под его камерами, и весь мой острый язык ничего не стоит, если он решит действительно прикоснуться.

Его лицо изменилось. Едва. Где-то под кожей, слишком глубоко, чтобы назвать это раскаянием. Скорее, злостью на то, что я боюсь его правильно.

— Я не беру женщин, которые говорят “нет”, — произнес он тихо.

Я рассмеялась. Нервно. Хрипло.

— Как благородно для похитителя.

— Не путай, Лина. Похитить и взять — разные вещи.

— В вашем словаре, наверное, много удобных различий.

— В моем словаре мало слов. Зато все точные.

Он снова поднял руку, медленнее. На этот раз я не дернулась. Не потому что доверяла. Потому что запретила себе. Его пальцы коснулись не кожи — пряди волос, выбившейся у моего виска. Убрали ее назад. Легко. Почти нежно. И от этой почти нежности меня затошнило сильнее, чем от грубости, потому что грубость можно ненавидеть. Нежность от страшного человека ломает защиту в другом месте. Кожа вспыхнула там, где он не коснулся.

— Не надо, — сказала я.

Он убрал руку.

Сразу.

И от этого стало еще хуже.

— Видишь? — спросил он. — Умею слушать.

— Когда хотите.

— Когда приказ звучит честно.

— Это была просьба.

— Нет. Это был страх.

Я смотрела на него и понимала, что он опасен не только потому, что может запереть, отнять, сломать, приказать. Он опасен, потому что видит слишком точно. Снимает с тебя кожу взглядом, но не для того, чтобы полюбоваться. Чтобы найти нерв.

— Что вы хотите от меня? — спросила я.

— Сейчас?

— Вообще.

Он молчал долго.

Где-то внизу дома закрылась дверь. Тихий звук прошел по коридору и растворился. Я ждала ответа и боялась его. Потому что если он скажет “ребенка”, я ударю. Если скажет “тебя”, я, возможно, тоже ударю, но уже не буду уверена, что только от злости.

— Чтобы ты ела, спала и не делала глупостей, — сказал он.

— Какая скучная фантазия.

Его взгляд снова опустился к моему рту.

— Ты не хочешь знать мои фантазии, vedova.

Мой живот сжался. Не ребенок. Я.

От этих слов стало жарко так резко, что даже колени ослабли. Пошло по коже, под грудь, вниз, туда, где тело не имело права просыпаться, пока сердце еще пахло кладбищем. Я ненавидела его за это. За то, что он умел сказать одну фразу, и я уже боролась не с ним, а с собственной плотью. С тем, как во рту сухо. Как дыхание застряло. Как хочется сжать бедра, чтобы погасить эту грязную, неуместную волну.

Он смотрел.

И я знала: видит.

— Вы все-таки больной, — сказала я почти беззвучно.

— Может быть.

— И вам это нравится.

— Мне нравится, когда ты перестаешь притворяться, что не понимаешь.

— Я понимаю только одно. Вы держите меня здесь против воли.

— Да.

Честность ударила сильнее любой отговорки.

— Даже не будете оправдываться?

— Перед кем? Перед тобой?

— Хотя бы для приличия.

— Приличия похоронили сегодня вместе с Алессандро.

Имя мужа между нами прозвучало как ведро ледяной воды. Я вздрогнула. Стыд снова

поднялся, кислый, мерзкий, настоящий. Алессандро лежит в земле, а я стою в коридоре его брата, беременная, босая, в сорочке, с телом, которое реагирует на чужую грязную низкую фразу.

— Не смейте, — прошептала я.

— Что?

— Произносить его имя так.

— Как?

— Будто он вам мешает даже мертвый.

Дамиано стал неподвижным.

Совсем.

Не окаменел — собрался. Как оружие перед выстрелом.

— Мертвые редко мешают, Лина. Мешают живые, которые прячутся за ними.

— Я не прячусь.

— Тогда почему ты дрожишь от меня и стыдишься так, будто предаешь его?

Пощечина вышла раньше мысли.

Громкая.

Острая.

Моя ладонь вспыхнула болью, а его лицо дернулось всего на миллиметр. Не больше.

Он мог перехватить. Мог остановить. Я поняла это сразу. Он позволил.

Тишина после удара стала плотной, почти черной.

Я дышала ртом. Он медленно повернул лицо обратно. На скуле начал проявляться след моей ладони. Бледно-розовый, почти нежный. Господи, даже это выглядело неправильно. Моя рука на его коже. Мой отпечаток. Моя маленькая, жалкая победа, от которой внутри почему-то не стало легче.

— Еще раз, — сказал он тихо, — и я забуду, что ты беременна.

Страх ударил под колени.

Но он не двинулся.

— Ударите меня? — спросила я.

— Нет.

— Тогда что?

Он наклонился. Медленно, не касаясь. Его губы оказались у моего уха, и я закрыла глаза не потому, что хотела, а потому что тело решило за меня. Дыхание Дамиано прошло по коже, вниз по шее, к вороту сорочки, и я слишком отчетливо представила, как его рот опускается ниже, к груди, как зубы цепляют ткань у соска, как его пальцы проверяют влажность между моих бедер и находят там не страх, а предательство. Я стиснула пальцы в кулаки так сильно, что ногти вошли в ладони.

— Я заставлю тебя понять разницу между страхом и тем, что ты сейчас прячешь, — произнес он. — И тебе не понравится, как быстро ты перестанешь ненавидеть первое.

Грязно.

Нагло.

Жестоко.

И так тихо, что слова вошли не в уши, а сразу под кожу.

Я открыла глаза.

Он отступил первым.

Снова.

Каждый раз, когда я ждала, что он возьмет, он отступал. И это сводило с ума сильнее, чем если бы схватил. Потому что оставлял меня с реакцией, с дрожью, со стыдом, с жаром между ребрами и внизу живота, а сам стоял передо мной почти спокойный, будто не видел, как я разваливаюсь изнутри.

— Спать, Лина, — сказал он.

— Не командуйте мной.

— Я уже командую. Ты просто пока споришь для красоты.

— Для ненависти.

— Тем лучше. Ненависть бодрит.

Он повернулся, чтобы уйти.

Я не знаю, зачем сказала. Может, чтобы вернуть себе последнее слово. Может, потому что молчание после него было бы капитуляцией.

— Я сбегу.

Дамиано остановился.

Не обернулся сразу. Секунду смотрел в темный коридор перед собой, потом медленно повернул голову.

— Конечно.

Я растерялась.

— Что?

— Ты попробуешь. Я бы разочаровался, если бы нет.

— Вы самоуверенный подонок.

— Да.

Он подошел к своей двери. Оказалось, она совсем близко. В конце коридора, за поворотом, но я видела теперь, как мало расстояния между его миром и моей клеткой. Одиннадцать шагов. Может быть, двенадцать, если идти медленно. Смешное расстояние. Неприличное. Слишком близко для безопасности и слишком далеко для того, чтобы отрицать, что я уже запомнила.

Дамиано положил руку на ручку.

— Кстати, Лина.

Я молчала.

— Сегодня дверь твоей комнаты не заперта.

Сердце дернулось.

— Что?

— Можешь выходить.

— Охрана?

— Останется на расстоянии.

— Почему?

Он посмотрел на меня через плечо. Черная рубашка, темные глаза, след моей пощечины на скуле, и этот невозможный, мерзкий, живой ток между нами, от которого хотелось разодрать себе кожу, лишь бы перестать чувствовать.

— Потому что клетка, из которой можно выйти в коридор, все равно остается клеткой. Просто пленница дольше сохраняет иллюзию гордости.

Он вошел в кабинет.

Дверь закрылась.

Я стояла одна в коридоре, босая, беременная, с горячей ладонью, с пересохшим горлом, с телом, которое все еще помнило его дыхание у уха, и считала шаги до своей комнаты, потому что если не считать, я могла начать кричать.

Один.

Два.

Три.

Клетка не была заперта.

И от этого стало страшнее.

Глава 4. ДАМИАНО

Экран камеры был разделен на шестнадцать секторов, и пятнадцать из них могли в эту минуту показывать пожар, вторжение карабинеров или второе пришествие Христа — я

бы все равно не заметил. В шестнадцатом была Лина. Она ходила по комнате босиком, медленно, от окна к кровати и обратно, словно пыталась измерить мою виллу собственными шагами и найти в ней ошибку, через которую можно выбраться. Тонкая белая сорочка доходила ей до колен, ткань скользила по бедрам, натягивалась на животе и колыхалась вокруг щиколоток. Волосы она собрала кое-как, но несколько прядей выбились и прилипли к шее. Каждый раз, когда Лина поворачивалась к камере спиной, я видел темную полосу позвоночника под тканью, лопатки, острые, как сложенные крылья, и маленькие ступни, бесшумно касавшиеся мрамора. Я смотрел на нее уже час. Как последний больной ублюдок.

Мне следовало заниматься портом. Ночью люди Риччи вскрыли контейнер с оружием, убили двоих моих и оставили одного живым, чтобы он передал предложение: отдать южный терминал в обмен на мир. Предложение было почти смешным. Мир с Риччи закончился еще до того, как они научились правильно произносить мою фамилию, просто

до сегодняшнего утра они об этом не знали. В подвале ждал человек, который мог назвать имена. На столе лежали фотографии трупов. Телефон вибрировал каждые две минуты, и каждый звонок стоил кому-то денег, свободы или жизни. А я сидел в комнате охраны и смотрел, как беременная вдова моего брата водит ладонью по пояснице. Не просто беременная. Моя. Не вдова — моя женщина, которую я однажды взял, а потом позволил проснуться рядом с ложью. Мой ребенок под ее сердцем. Моя ошибка, у которой были мягкие губы, злые глаза и привычка закрывать дверь перед моим лицом.

Она остановилась у окна и наклонилась, упершись ладонью в подоконник. Вторая рука легла под живот, будто он стал слишком тяжелым. Сорочка скользнула выше по бедру, открывая узкую полоску кожи над коленом, и мой член налился так резко, что пришлось откинуться в кресле и стиснуть подлокотник.

— Блядь.

Охранник у дальней стены сделал вид, что не слышал. Умный. Я платил ему не за слух. Лина выпрямилась, но не сразу. Ее лицо отразилось в темном стекле — бледное, усталое, с тенями под глазами. Она прикрыла веки и несколько раз глубоко вдохнула. Потом прижалась лбом к окну. На стекле возникло мутное пятно от дыхания и медленно исчезло. Я смотрел на это пятно, пока оно не растворилось полностью. Если дышит, значит, жива. Если жива она, жив ребенок. Если живы оба, я еще никого не убил за то, что мне страшно. Страх был для меня непривычной физиологией. Я знал ярость: она собиралась в ладонях и требовала чужой гортани. Знал ненависть: холодную, терпеливую, способную ждать годы. Знал похоть: тяжелую, прямую, безжалостную, после которой женщины уходили довольными и навсегда. Но страх оказался другим. Он не бил

В

голову, не ускорял пульс. Он медленно раздвигал ребра изнутри, будто между ними вгоняли клин, и оставлял меня сидеть перед экраном с невозможностью сделать хоть что-нибудь, кроме как считать ее вдохи.

Лина снова пошла по комнате. На третьем повороте качнулась. Я уже стоял, когда она ухватилась за спинку кресла.

— Альфредо на территории? — спросил я.

— Нет, дон Монтеверде.

— Через двадцать минут будет.

Охранник потянулся к телефону, но я набрал врача сам. Он ответил на первом гудке.

— Слушаю, синьор Монтеверде.

— У тебя двадцать минут.

— Я сейчас в клинике, у меня операция через...

— Значит, у другого хирурга будет операция, а у тебя — пациентка. Вдова в восточном крыле.

— Я осматривал ее после похорон. Состояние соответствовало...

— Она держится за мебель, чтобы не упасть.

Он замолчал. Я услышал шорох бумаги, чей-то голос на заднем плане, скрип двери.

— Буду через полчаса.

— Через двадцать минут, — повторил я. — На двадцать первой я начну выбирать, какой палец тебе не нужен для работы.

Альфредо приехал через восемнадцать. Пока его машина поднималась по аллее, я успел спуститься в подвал. Человека Риччи звали Паоло Манчини. Тридцать два года, жена, две дочери, ипотека, любовница в Бари и ошибочная уверенность, что семья Риччи заплатит ему за молчание больше, чем я способен заставить его заплатить за верность. Его привязали к стулу. На лице почти не было следов, только разбитая губа. Мои люди знали: начинать без меня нельзя.

— Дон Монтеверде, — прохрипел он, когда я вошел. — Я ничего не знаю.

— Тогда разговор будет коротким.

Я снял часы и положил на металлический стол. Рядом лежали пассатижи, нож, паяльная лампа и хирургический зажим. Паоло посмотрел на инструменты, потом на мои руки.

— У меня дети.

— У меня тоже.

Слова сорвались прежде, чем я успел решить, имею ли право их произнести. Паоло дернулся. Я взял зажим, раскрыл его и защелкнул на ногте его указательного пальца. Не вырвал. Просто сжал ровно настолько, чтобы металл вошел под пластину.

— Имя человека, который открыл контейнер.

— Я не знаю.

Я повернул зажим. Крик ударился о каменные стены. Паоло выгнулся, ремни впились в плечи, из-под ногтя выступила кровь и потекла по пальцу густой красной нитью. Я смотрел без удовольствия. Удовольствие вообще переоценено; для результата достаточно точности.

— У моей женщины кружится голова, — сказал я, ослабляя давление. — Поэтому у меня сегодня особенно мало терпения. Попробуй еще раз.

Он назвал имя на третьем пальце. Я вернул часы на запястье, не вытирая кровь с манжеты.

— Найдите названного, — приказал я. — Паоло отвезите домой.

Он поднял голову, не веря.

— Домой?

— Конечно. Пусть обнимет дочерей. Потом расскажет им, почему завтра их отец исчез-

нет

навсегда.

— Вы сказали...

— Я сказал отвезти домой. Не обещал оставить там.

Альфредо ждал в холле, когда я поднялся. Увидел кровь на моей руке, отвел взгляд и поправил кожаную сумку. Его совесть давно научилась не задавать вопросов, но глаза

еще иногда забывали правила.

— Она не любит врачей, — сказал я, направляясь к лестнице.

— Большинство людей не любит врачей.

— Большинство людей мне безразлично.

Альфредо взглянул на меня сбоку и ничего не ответил. Мы поднялись в восточное крыло. Дверь Лины была закрыта, пост охраны убран, как я приказал ночью. Она могла выйти. Могла дойти до сада, библиотеки, кухни, даже до парадного входа, прежде чем один из моих людей мягко и вежливо развернул бы ее обратно. Свобода — это не открытая дверь. Свобода — это отсутствие человека, который решает, куда она ведет. Я постучал.

— Уходите, — донеслось из комнаты.

— Врач.

— Тем более.

— Открой, Лина.

— У меня траур, синьор Монтеверде. Я оплакиваю смерть права на личное пространство.

Альфредо кашлянул, пряча улыбку. Я медленно повернул голову.

— Тебе весело?

— Нет.

— Хорошо. Значит, руки останутся при тебе.

За дверью щелкнул замок. Лина распахнула ее и посмотрела сначала на врача, потом на меня. На ней был темный халат, завязанный слишком туго под грудью. Волосы распущены, лицо вымыто, губы бесцветные. Она выглядела так, словно ночь пережевала ее и выплюнула только из упрямства. Ее взгляд опустился на мою манжету.

— Это кровь?

— Не моя.

— Я почему-то не удивлена.

— Разочарован. Я стараюсь быть многогранным.

— Получается только быть подонком.

— Зато безупречно.

Альфредо снова издал подозрительный звук, и Лина едва заметно дернула уголком губ. Улыбка не появилась, но я увидел ее возможность, и от этой возможности во мне поднялось нечто настолько нелепое и опасное, что захотелось выставить врача за дверь, закрыть ее, подойти к Лине и стереть с ее рта всю бледность собственными губами. Я представил это слишком ясно. Как разорву узел халата одним движением. Как ткань распахнется, открывая налитую грудь под тонкой сорочкой, выпуклый живот, бедра. Как поставлю ладонь на затылок, не причиняя боли, но не позволяя отстраниться, и заставлю ее поднять лицо. Как она сначала сожмет губы, упрямая русская дрянь, а потом выдохнет мне в рот, узнавая вкус табака, который уже пробовал ее язык той ночью. Как ее пальцы снова найдут мою рубашку, как ногти врежутся в плечи, как она произнесет мое имя не с ненавистью, а тем сломанным голосом, от которого я потом полгода просыпался с кулаками, стиснутыми на пустой простыне. Член затвердел под брюками, тяжелый и болезненный. Я не двинулся.

Мужчина, не способный удержать собственный член, не способен удержать империю.

— Доктор тебя осмотрит, — сказал я.

— А вы будете считать мои вдохи из коридора или предпочитаете камеру?

Альфредо посмотрел на меня. Медленно. Слишком понимающе. Лина заметила.

— Так и знала, — прошептала она.

— Что именно?

— Что вы смотрите.

Она произнесла это тихо, но слова ударили сильнее пощечины. Не потому, что мне стало стыдно. Стыд — роскошь людей, которым есть перед кем оправдываться. Меня разозлило, что она догадалась и теперь смотрела так, будто раздела уже меня: не тело — навязчивость, голод, бессонную ночь, все то, что я прятал за камерами и приказами.

— Я предупреждал, что ты под наблюдением.

— Наблюдают за воротами. За человеком подглядывают.

— Хочешь обсудить терминологию или остаться в сознании до обеда?

— Хочу, чтобы вы убрали камеру из моей спальни.

— Нет.

— Тогда осмотра не будет.

Альфредо поднял ладони, словно оказался между двумя вооруженными людьми. В каком-то смысле так и было.

— Синьора, нам необходимо проверить давление и сердцебиение ребенка. Это не займет...

— Я соглашусь, если он выйдет и прикажет снять камеру.

Я вошел в комнату. Лина не отступила, хотя я видел, как пульс толкнулся у основания ее шеи. Альфредо остался на пороге. Правильно. Старик еще хотел жить.

— Торгуешься со мной здоровьем ребенка? — спросил я.

— Своим телом. Вы все почему-то забываете, что оно мое.

— Я не забываю.

— Правда? Паспорт у вас. Телефон у вас. Деньги у вас. За дверью ваши люди. Над кроватью ваш глаз. Что именно осталось моим, Дамиано?

Она впервые назвала меня по имени после похорон. Не «синьор Монтеверде». Не «подонок». Дамиано. Пять слогов в ее русском произношении — мягче, чем у итальян-

цев,

и оттого грязнее, интимнее. Имя скользнуло по моей коже, как ноготь, оставило невидимую царапину от горла до паха. Я сделал шаг. Она подняла подбородок. Еще шаг — и между нами осталось расстояние, в котором уже невозможно лгать телом: я чувствовал тепло ее дыхания, видел, как расширились зрачки, как ткань халата дрогнула на груди.

— Что осталось твоим? — переспросил я.

— Да.

— Твое «нет».

Лина замерла.

— Пока ты его произносишь, я останавлиюсь. Я уже доказал это ночью.

— А все остальное вы отнимете?

— Все остальное я возьму под контроль.

— Какая удобная разница.

— Для тебя — жизненно важная.

Я поднял руку. Она напряглась, но не сказала «нет». Костяшками пальцев коснулся края ее халата у ключицы и медленно провел вниз, только по ткани, к тугому узлу под грудью. Лина перестала дышать. Я не касался кожи, не трогал грудь, не развязывал пояс — всего лишь провел пальцами по мягкому бархату, но ее соски проступили под сороч-

кой,

и я увидел это сквозь разошедшийся ворот. Мой рот наполнился слюной. Хотелось наклониться и взять один губами прямо через ткань. Намочить ее дыханием, языком, услышать, как она задохнется от первого нажима, как пальцы вцепятся мне в волосы не то чтобы оттолкнуть, не то чтобы прижать. Хотелось опуститься ниже, поцеловать живот,

а

потом еще ниже, раздвинуть ее бедра и довести ртом до того состояния, в котором гордость перестает складываться в слова. Не трахнуть. Пока нет. Сделать хуже. Оставить ее дрожать на моих руках, ненавидеть меня и просить одновременно, а самому остановиться на границе, чтобы она знала, кто управляет даже ее удовольствием. Эти мысли были настолько отчетливыми, что у меня свело мышцы живота. Лина смотрела мне в глаза. В ее взгляде были ярость, страх и то третье, за что она готова была убить себя раньше, чем признать. Ее губы разомкнулись. Я опустил взгляд на рот.

— Камеру, — напомнила она едва слышно.

Я взялся за узел халата двумя пальцами.

— Скажи «нет».

Ее дыхание сорвалось.

— Вы больной.

— Это не «нет».

— Не трогайте меня.

Я отпустил пояс мгновенно. Отступил на шаг. Не потому, что стал хорошим. Потому что слово женщины, которую я однажды взял в момент, когда должен был уйти, теперь было единственным законом, который я не позволял себе нарушать. Она пока не знала почему. Когда узнает, одного моего контроля будет мало, чтобы удержать ее рядом.

— Осмотр будет, — сказал я. — Камеру из спальни снимут. Останется в коридоре и у

окна

с внешней стороны.

Лина моргнула, не ожидая уступки.

— И телефон вернут.

— Один звонок матери. При мне.

— Без вас.

— Не наглей.

— Вы только что гладили мой халат и советуете не наглеть мне?

Я усмехнулся.

— Если бы я тебя гладил, vedova, ты бы не стояла так ровно.

Румянец вспыхнул у нее на скулах, разлился по шее и исчез под воротом. Я проследил за ним глазами и увидел, как Лина поняла, куда я смотрю. Она запахнула халат обеими руками.

— Вон.

— С удовольствием. Оно у меня сейчас болезненное.

Она перевела взгляд ниже моего ремня и тут же обратно, слишком быстро, чтобы считать случайностью. На одну короткую секунду в ее глазах мелькнуло знание. Не память — тело. Оно узнало очертание под тканью раньше, чем разум успел придумать отвращение. Я вышел, пока еще мог. Альфредо вошел к ней и закрыл дверь. Я остался в коридоре, уперся ладонями в подоконник и смотрел в сад. Кровь Паоло засохла на манжете. Член ныл. В голове звучало мое имя ее голосом, и хуже пытки я не мог придумать даже для врага. Через сорок минут врач вышел. Лицо его было серьезным.

— В кабинет, — сказал я.

Он сел напротив моего стола и разложил результаты. Я не предложил ему ни воды, ни кофе. Гостеприимство заканчивается там, где начинается плохая новость.

— Анемия средней степени, гемоглобин девяносто два. Железо почти на нуле. Давление низкое. Она сильно потеряла в весе за последние недели, хотя на этом сроке должна набирать. Организм отдает ребенку все, что имеет, и работает на остатках.

— Ребенок?

— Пока показатели соответствуют сроку. Сердцебиение ровное. Но слово «пока» здесь

главное.

Я сцепил пальцы на столе.

— Что нужно?

— Препараты железа, питание, сон, свежий воздух. И убрать стресс.

— Конкретнее.

— Красное мясо, печень, гречка, бобовые, гранатовый сок. Маленькие порции шесть раз

В

день. Капельницы. Прогулки. Никаких конфликтов, угроз, давления.

— Значит, семью к ней не подпускать.

Альфредо посмотрел прямо на меня.

— Я говорил не только о семье.

В комнате стало очень тихо.

— Продолжай, — разрешил я.

— Она боится вас.

— И правильно делает.

— Постоянный страх повышает риск преждевременных родов.

— Она возбуждается рядом со мной сильнее, чем боится.

Слова прозвучали грубо. Намеренно. Я хотел заставить его отвернуться, заткнуться, перестать произносить ее имя так, будто имеет право знать о ней больше меня. Но Альфредо не отвел глаз.

— Для организма разницы почти нет, синьор Монтеверде. И страх, и возбуждение учащают пульс, напрягают мышцы, выбрасывают гормоны. Только одно из них женщина выбирает, а второе ей навязывают.

Мне захотелось сломать ему челюсть. Не потому, что он ошибался. Потому что был прав слишком точно.

— Следи за медициной, доктор. Философию оставь тем, кто хочет умереть без боли.

— Тогда медицински: если не изменить условия, она может не доносить ребенка. На шестом месяце это реанимация, возможная инвалидность и риск кровотечения у матери. Кровотечение. Я увидел белые простыни и красное пятно между ее бедер. Увидел Лину неподвижной, без колкости во взгляде, без сжатых губ, без ненависти. Увидел ребенка, которого никогда не возьму на руки. Картина возникла мгновенно и вошла под грудину крюком, вывернула внутренности, оставила во рту металлический вкус. На столе треснуло дерево. Только тогда я понял, что сжал край столешницы.

— Этого не будет.

— Это не приказ, который способно выполнить тело.

— Все тела выполняют мои приказы.

— Мертвые — возможно. Живые иногда ломаются.

Я встал. Альфредо побледнел, но остался сидеть. За это я почти уважал его.

— Новое меню передашь Лучии. Препараты привезешь сегодня. Осмотр через день.

Лучший акушер региона будет доступен круглосуточно, но не появится перед Линой без

ее

согласия. Постель заменить, если матрас ей неудобен. В комнате поставить кресло, в котором можно спать полусидя. Воду — ту, которую она пила раньше. Охрана держит пятнадцать метров и не попадает ей на глаза. Сад открыт с рассвета до полуночи.

Камеру из спальни снять немедленно.

— А телефон?

— Вернуть после проверки контактов.

— Паспорт?

— Останется у меня.

Он вздохнул.

— Вы не умеете заботиться, не превращая заботу в захват территории.

— Я не забочусь. Я сохраняю то, что принадлежит моей семье.

— Ребенка?

Я посмотрел на него. Альфредо понял ответ раньше, чем я произнес. Не только. Лина тоже. Именно поэтому я мог приказать убрать камеру, заменить еду, открыть сад, вернуть телефон, согнать с постов охрану, купить клинику вместе со всеми врачами, если понадобится, — и ничто из этого не делало ее свободнее. Я не отдавал. Я окружал. Сдвигал стены дальше, чтобы она не сразу заметила, насколько выросла территория моего владения.

— Ей нужен покой, — сказал Альфредо. — Не роскошная осада.

— Подбирай слова.

— Я подбираю. Уже много лет. Но сейчас цена не позволяет мне молчать.

Он собрал бумаги, поднялся и задержался у двери. Старый купленный врач, который видел, как я приказывал зашивать людей без обезболивания, как подписывал ложные свидетельства о смерти, как приносил в его операционную мужчин с пулями в затылке и требовал воскресить хотя бы до допроса, вдруг решил говорить со мной как с человеком. Это было почти оскорбительно.

— Если она потеряет ребенка, — произнес он, — вы потеряете больше.

Дверь закрылась. Я остался один и впервые за много лет не знал, кого убить, чтобы стало легче.

Глава 5. ЛИНА

К ужину мне принесли красное платье. Не черное, хотя со дня похорон Алессандро прошло меньше суток. Не серое, не темно-синее, не одно из тех бесцветных одеяний, в которые принято заворачивать вдов, чтобы все вокруг видели: женщина больше не женщина, а ходячий памятник мужчине, которому принадлежала. Красное. Глубокого винного оттенка, с длинными рукавами, закрытой спиной и вырезом, который не показывал ничего лишнего, но каким-то отвратительным образом подчеркивал все: налившуюся грудь, тонкую шею, живот, уже слишком заметный, чтобы его можно было спрятать складками ткани. На кровати рядом лежала записка. Всего два слова, написанные твердым мужским почерком: «Надень его». Без подписи. Она и не требовалась. В этом доме приказы не подписывали, потому что источник у них был один. Я взяла карточку двумя пальцами и перевернула, надеясь увидеть хотя бы объяснение. Например: черное платье промокло на кладбище. Или: врач запретил тугую ткань. Или даже: Изабелла ненавидит красный, поэтому я решил испортить ей аппетит. Что угодно человеческое, логичное, имеющее начало и конец. На обороте было пусто.

— Разумеется, — пробормотала я. — Зачем объяснять, если можно командовать.

Аделаида стояла у шкафа, сложив руки перед собой. Лицо у нее было безмятежным, но я уже научилась замечать, как едва подрагивает кожа возле ее левого глаза, когда она пытается сделать вид, что происходящее ее не касается.

— Синьор Монтеверде распорядился, чтобы вы присутствовали на семейном ужине.

— Я догадалась по ультиматуму, лежащему на моей кровати.

— Это платье выбрала синьора Изабелла.

Я снова посмотрела на красную ткань. Тогда все стало хуже. Дамиано не выбирал его, но приказал надеть. Значит, мать подготовила костюм для представления, а сын утвердил роль. Мне предстояло спуститься к ним не вдовой Алессандро, а беременным доказательством того, что фамилия продолжится, — красной печатью на договоре,

который подписали без моего согласия.

— А если я не пойду?

— Ужин подадут в восемь.

— Я спрашиваю не о времени.

Аделаида подняла на меня глаза.

— Я тоже, синьора.

Вот за это она начинала мне нравиться. Чуть-чуть. Ровно настолько, насколько может нравиться ключница, которая вежливо проверяет прочность твоих кандалов. Я могла не надевать платье. Могла закрыться в комнате, отказаться от еды, дожидаться, пока Дамиано придет сам, и снова воевать с ним в коридоре, где от одного его приближения мое тело теряло остатки достоинства и принималось жить отдельной, постыдной жизнью. Но именно этого я не хотела. Не хотела оставаться наверху, пока внизу решают мою судьбу. Люди, считающие тебя слабой, становятся особенно разговорчивыми, когда видят,

что ты сидишь тихо. Поэтому я надела красное.

Платье оказалось сшито по мне. Не просто подходило — знало мое тело. Ткань мягко облегла грудь, не давила на живот, расходилась ниже бедер тяжелыми складками и скользила по ногам при каждом шаге, как теплая вода. Под ним было бесшовное белье, тонкое до неприличия, и я почти физически чувствовала, как оно касается сосков, живота,

бедер, как напоминает о коже там, где я меньше всего хотела помнить о коже. Я стояла перед зеркалом и чувствовала себя обнаженной сильнее, чем в ночной сорочке перед Дамиано. Там была случайность: растрепанные волосы, босые ноги, тонкая ткань, темный коридор. Здесь — намерение. Кто-то измерил меня взглядом, подобрал размер, цвет, белье без швов, даже туфли с низким каблуком. Кто-то знал, как сделать так, чтобы беременная вдова выглядела не сломанной, а запретной. Я ненавидела то, что мне нравилось отражение. И еще сильнее ненавидела мысль о том, понравится ли оно ему. И совсем уже унижительно — что от этой мысли низ живота сжался теплым, мокрым страхом, больше похожим на желание, чем на отвращение.

В восемь без пяти я вышла из комнаты. Охранника у двери не было. Камеру над кроватью сняли, на потолке остался светлый круг и два крошечных отверстия от крепления. Телефон вернули, но в списке контактов не осталось ни одного итальянского номера, кроме врача, Аделаиды и самого Дамиано. Его имя было внесено без фамилии. Просто «Дамиано», будто человек, способный перекрыть мне воздух, не нуждался ни в пояснениях, ни в дистанции. Я не позвонила ему. Даже проверять номер не стала. Боялась услышать его голос слишком близко, прямо у уха, без коридора, без стены, без возможности сделать вид, что низкая вибрация внизу живота вызвана чем-то другим. До столовой меня сопровождала Аделаида. Мы шли по длинной галерее, где со стен смотрели мертвые Монтеверде: мужчины с тяжелыми веками, женщины с тонкими ртами,

дети в кружевных воротниках, не дожившие до возраста, когда можно возненавидеть собственную фамилию. Под каждым портретом — имя, годы жизни и ни одного слова о том, сколько людей пришлось закопать, чтобы этот человек мог позировать художнику в шелке и золоте.

У дверей столовой Аделаида остановилась.

— Ваше место обозначено карточкой.

— Как удобно. Иначе я могла бы случайно сесть там, где женщина считается человеком. Она ничего не ответила, но левый глаз снова дрогнул. Двери открылись. За длинным столом сидели четырнадцать человек. Разговор оборвался не сразу, а постепенно, будто

кто-то перекрывал звук по одному голосу. Сначала замолчали женщины, потом мужчины,

последним — кузен Леоне, державший бокал здоровой рукой. Правая была забинтована и

зафиксирована двумя металлическими шинами. Он увидел меня, и на его лице мелькнуло

такое откровенное злорадство, что я сразу поняла: этот вечер готовили не ради ужина. Изабелла сидела во главе стола. Место Дамиано напротив нее пустовало. Моя карточка стояла в самом конце, рядом с дальней дверью, между пожилой теткой Бьянкой и свободным стулом, на который обычно складывали сумочки. Даже не гостя. Временный предмет, которому отвели угол, чтобы не мешал семье смотреть друг на друга. Я пошла к своему месту. Красная юбка шуршала по мрамору. Четырнадцать взглядов двигались по моему телу: живот, грудь, лицо, снова живот. Меня рассматривали как дорогую вазу, внутри которой случайно оказался наследник.

— Какой неожиданный цвет для траура, — произнесла Бьянка, когда я подошла.

— Платье выбрала Изабелла.

Тетка поджала губы. Изабелла улыбнулась, не показав зубов.

— Красный идет беременным. В них так много крови.

У меня похолодели пальцы.

— Какая утешительная мысль перед едой.

Леоне фыркнул. Его рука в шинах лежала на столе, как вещественное доказательство, которое никто не решался обсуждать. Я села. Стул оказался слишком низким, край столешницы неприятно давил на живот, а до графина с водой нужно было тянуться. Конечно. Случайность. В доме, где даже мои бутылки выбирали по размеру ладони, случайностей не было. Я потянулась к воде. Двери снова открылись. Дамиано вошел без опоздания, потому что человек, которому принадлежат часы, не может опоздать. Это остальные начинают слишком рано ждать. На нем был черный костюм без галстука, белая рубашка расстегнута у горла, темные волосы еще влажные после душа. Никакой траурной небрежности, ни одного лишнего движения. Он выглядел не как мужчина, похоронив-

ший

брата, а как тот, кто лично проводил смерть до ворот и велел ей не возвращаться без приглашения.

Мой взгляд прилип к его рукам. Чистым. Без крови, которую я видела утром. Длинные пальцы, крупные костяшки, часы на запястье. Я вспомнила, как два его пальца держали узел моего халата. Как отпустили сразу после «не трогайте». Как он сказал, что если бы гладил меня, я бы не стояла так ровно. Между бедер стало жарко. Я сжала колени и возненавидела себя с такой силой, что на языке появился привкус железа. Дамиано остановился у своего кресла, но не сел. Посмотрел на пустой стул справа от себя, потом на карточку перед ним, затем медленно перевел взгляд в конец стола. На меня. Его лицо не изменилось. Только глаза стали темнее, и по комнате прошла тишина — густая, настороженная, мгновенно понявшая то, что я еще не успела.

— Лина, — произнес он.

Мое имя прозвучало не как приглашение. Как вызов к алтарю, на котором вместо Бога сидел он.

— Я уже нашла место, спасибо.

— Вижу.

Он взял карточку справа от себя. На ней было имя Изабеллы. Дамиано разорвал картон пополам и положил обрывки на тарелку матери.

— Пересядь.

Изабелла побелела.

— Дамиано.

— Не ты.

Он смотрел только на меня. Я могла отказаться. И, наверное, должна была, потому что место рядом с ним не было защитой — оно было клеймом, видимым всем. Но край стола давил на живот, ребенок толкнулся, а четырнадцать родственников ждали, не решаясь дышать. Я встала и пошла вдоль стола. Дамиано следил за мной без стыда, медленно, от лица к груди, от груди к животу, ниже, к движению бедер под красной тканью.

От его взгляда платье будто нагревалось, прилипало к коже, и каждый шаг становился слишком ясным: как трутся бедра, как напрягаются икры, как грудь тяжело поднимается от

дыхания. Когда я подошла, он отодвинул для меня кресло. Широкое, с высокой спинкой и подушкой под поясницу. Не то, которое стояло здесь раньше. Это принесли специально.

— Как предусмотрительно, — сказала я, садясь. — Даже место заключения сделали удобным.

Он наклонился к моему уху, будто поправлял кресло. Ладонь легла на спинку за моей шеей, вторая коснулась подлокотника возле бедра. Я оказалась внутри пространства его рук, не прижатая, не тронутая, но окруженная так плотно, что тело отреагировало раньше мысли: соски напряглись, низ живота свело медленной судорогой, дыхание застряло под ключицами.

— Если бы я хотел сделать удобным твое заключение, vedova, — прошептал он, — начал бы не с кресла.

Горячий воздух коснулся мочки уха. Я стиснула пальцы на салфетке.

— Мечтайте тише. Здесь ваша мать.

— Именно поэтому я только мечтаю.

Он выпрямился и сел рядом. Между нашими креслами было слишком мало места. Его бедро почти касалось моего под столом, запах чистой кожи, табака и горького одеколона заполнил легкие. Изабелла пересела на место Дамиано напротив, и унижение превратило ее лицо в маску, настолько неподвижную, что мне стало страшно. Не за нее. За себя. Дамиано только что объявил войну собственной матери, используя вместо флага мою беременную фигуру в красном платье. Подали закуски. Передо мной поставили печеные овощи, телятину, чечевицу и гранатовый сок. У остальных были устрицы, белая рыба, вино. Медицинское меню. Я посмотрела на Дамиано.

— Вы собираетесь следить за каждым куском?

— Да.

— Тогда приятного вам аппетита. Я не голодна.

Он развернул мою тарелку так, чтобы мясо оказалось ближе, потом положил ладонь на край стола возле моих пальцев. Не коснулся, но отрезал путь к отступлению одним движением.

— Выбери сама. Но съешь половину.

— Нет.

— Лина.

— Дамиано.

Мы посмотрели друг на друга. За столом звякнула вилка, кто-то тут же замер. Я чувствовала, как семья наблюдает за нами, как Изабелла впирается ногтями в салфетку, как Леоне ухмыляется, ожидая, что Капо поставит русскую вдову на место. Дамиано не двинулся. Просто ждал, положив ладонь рядом с моей, и от этой неподвижности становилось хуже, чем от приказа: он превратил мой собственный ужин в испытание, а

весь стол — в свидетелей.

— Вы хотите, чтобы я поела, или чтобы все увидели, как я вам подчиняюсь?

— Я хочу, чтобы ты перестала отдавать свое тело на растерзание из упрямства.

— Мое тело вас не касается.

Он наклонился, и его колено раздвинуло складки моей юбки, прижавшись к внешней стороне бедра. Через ткань прошел тяжелый жар. Я должна была отодвинуться, но кресло упиралось в подлокотник, а еще хуже — какая-то часть меня не хотела освобождать эти несколько сантиметров.

— Ты права, — прошептал он, глядя на мой рот. — Пока не касается.

Тон был негромким. Почти интимным. Таким голосом мужчина мог бы приказать раздвинуть ноги, встать на колени, кончить ему на язык, и тело подчинилось бы прежде, чем гордость успела поднять оружие. Кровь бросилась к лицу, губы стали чувствительными, язык невольно коснулся внутренней стороны зубов. Его колено почти касалось моего бедра под столом, и этого “почти” хватало, чтобы ткань белья вдруг стала слишком влажной, слишком тесной, слишком настоящей. Я ненавидела, что он мог не трогать меня и все равно знать, что делает со мной.

— Уберите ногу.

— Скажи, что тебе неприятно.

Я открыла рот и не произнесла ничего. Потому что он требовал не приказ, а правду, а правда была грязнее его ладоней. Дамиано медленно отодвинулся сам, оставив на бедре память о давлении, от которой мышцы продолжали подрагивать.

— Вот именно, — сказал он.

Я взяла вилку сама, наколола телятину и отправила в рот, не отводя от него взгляда. Не подчинилась. Приняла вызов. Но разница существовала только у меня в голове. Для семьи я все равно сделала то, чего он хотел. Дамиано проследил за движением моих губ, и его зрачки расширились. На секунду спокойствие треснуло, показав темный, тяжелый голод, от которого у меня заныло между ног и стало трудно проглотить. Я вдруг поняла, что он представляет не мясо у меня на языке, а свой член, мой рот, мои губы вокруг него, и эта мысль была такой грязной и такой очевидной в его взгляде, что я едва не уронила вилку. Я жевала и представляла, как вонзаю вилку ему в бедро. Наверное, поэтому вкус показался приятным. Изабелла заговорила о ребенке после второго блюда. До этого обсуждали похороны, пожертвования церкви, смену управляющего в одном из отелей и портовый конфликт, о котором женщины якобы не должны были понимать, но понимали все. Потом свекровь промокнула губы салфеткой и посмотрела на мой живот.

— Детскую подготовят в западном крыле. Кормилицу уже подбирают.

Я положила вилку.

— Кормилицу?

— Иногда у женщин после родов не бывает молока. Не стоит рисковать питанием наследника.

— У ребенка есть мать.

— Разумеется. До родов.

Слова прозвучали буднично. Не жестоко, не торжествующе. Так говорят, что аренда заканчивается первого числа и помещение нужно освободить. Под столом ребенок толкнулся. Я положила ладонь на живот.

— Что значит «до родов»?

Изабелла посмотрела на Дамиано. Он не двигался. Только большой палец медленно провел по краю бокала.

— После восстановления ты сможешь вернуться к своим, — сказала она. — В Россию. Семья обеспечит тебя деньгами. Очень щедро. Ты начнешь новую жизнь.

Сначала я ничего не почувствовала. Ни страха, ни боли, ни ярости. Тело стало пустым и холодным, будто кровь разом ушла из сосудов и собралась вокруг ребенка, закрывая его от этих голосов, лиц, планов. Потом сердце ударило так сильно, что перед глазами потемнело.

— А ребенок?

— Останется там, где ему место.

Я посмотрела на Дамиано. Он продолжал молчать. И это молчание оказалось хуже согласия. Он мог пересадить мать, разорвать карточку, контролировать мой ужин, убрать камеру, купить кресло и воду, но в единственном вопросе, ради которого все имело значение, не произнес ни слова.

— Значит, я инкубатор, — сказала я.

— Не драматизируй, — ответила Изабелла. — Ты получишь свободу.

— Свободу от собственного ребенка?

— Свободу от обязательств, к которым ты не готова.

Я засмеялась. Смех вышел тихим, сиплым, почти безумным. Меня затрясло так сильно, что гранатовый сок в бокале пошел мелкой рябью.

— А вы готовы? Вы даже сына похоронили без слез.

Лицо Изабеллы дернулось.

— Следи за словами.

— Зачем? Дамиано сломает мне палец?

Взгляды метнулись к руке Леоне. Он покраснел.

— Не сравнивай себя со мной, русская, — процедил он. — Ты вообще никто. Ошибка Алессандро, которую семья слишком долго терпела.

Дамиано перестал водить пальцем по бокалу. Я почувствовала это, как изменение давления перед грозой.

— Леоне, — тихо сказала Бьянка.

Но он уже не мог остановиться. Мужчины вроде него принимают чужое молчание за слабость, пока не слышат хруст собственных костей.

— Родишь, подпишешь бумаги и уберешься, — продолжил он. — Будешь благодарна, что тебя вообще отпустили. Если ребенок действительно Монтеверде, конечно. Русские шлюхи часто путаются, от кого брюхо.

Я не увидела, как Дамиано встал. Только что он сидел рядом, а в следующую секунду ладонь легла Леоне на затылок и с чудовищной силой впечатала его лицом в тарелку. Фарфор раскололся. Раздался влажный хруст. Леоне заорал, вскинул здоровую руку, но Дамиано перехватил ее, распластал на столе и взял мой нож. Лезвие вошло между костями ладони. Не быстро. Не ударом. Дамиано надавил сверху, спокойно и точно, пока острие не пробило кожу, мясо и не вонзилось в деревянную столешницу. Кровь хлынула вокруг металла, залила белую скатерть, потекла к тарелкам тонкими алыми ручьями. Леоне закричал так, что у меня заложило уши. Его лицо было в соусе, крови и мелких осколках фарфора, один торчал возле губы. Никто не двинулся. Дамиано наклонился над ним. Белая манжета коснулась крови.

— Я сломал тебе палец вчера, — произнес он почти ласково. — Ты решил, что это была разминка?

— Дамиано... прости...

Он повернул нож.

— Ошибки в этом доме называю я.

Крик Леоне стал животным. Меня затошнило. И одновременно по телу прошла горячая волна, чудовищная, неправильная, стыдная. Этот мужчина только что прибил человеческую руку к столу, а мое нутро сжалось не одним ужасом. Я смотрела на его

плечи, на сухое движение запястья, на лицо без ярости и понимала: он делает это из-за меня. Не ради справедливости. Не потому, что уважает женщин. Потому что другой самец

назвал вслух то, что Дамиано считал своим и не позволял пачкать чужими словами.

— Повтори, кто она, — приказал он.

Леоне всхлипывал.

— Вдова Алессандро.

Дамиано повернул нож еще на четверть.

— Неправильный ответ.

Он поднял взгляд на меня. И я поняла раньше Леоне. Поняла по темноте в его глазах.

По тому, как кровь стекала с пальцев. По спокойствию, от которого мои соски затвердели под платьем и во рту стало сухо. По страшному знанию, что сейчас он заставит всю семью услышать формулу, после которой ничего нельзя будет вернуть назад.

— Она под защитой дона, — прохрипел Леоне.

— Громче.

— Она под вашей защитой!

Дамиано выдернул нож. Леоне рухнул на стол, прижимая пробитую ладонь к груди. К нему бросился один из мужчин, но Дамиано поднял окровавленное лезвие, и тот застыл.

— Уберите его. Врач зашьет без обезболивания. Если даст хоть каплю — я отрежу доктору руки.

Леоне уволокли. По мрамору осталась красная дорожка. Дамиано вытер нож о белую салфетку и положил рядом с моей тарелкой. Потом сел, будто ничего не произошло, и повернул ко мне лицо.

— Смотри на меня, Лина.

Я смотрела на кровь, впитывающуюся в скатерть.

— Вы сумасшедший.

— Возможно.

— Он мог истечь кровью.

— Не мог. Я знаю, куда втыкать нож.

Его бедро коснулось моего под столом. На этот раз не случайно. Он прижал ногу плотнее, удерживая меня на месте теплом и силой, а потом наклонился так близко, что губы почти задели висок.

— И знаю, куда не надо, — добавил он тихо.

У меня оборвался вдох. Изабелла сидела напротив, белая от ярости. Остальные не поднимали глаз. Запах мяса смешался с запахом крови, вина и дорогих свечей. Меня мутило, трясло, между бедер пульсировало отвращающее меня тепло, а рядом мужчины, способный за одну фразу распороть ладонь родственнику, удерживал меня одним взглядом и касался ногой так, будто это был не ужин, а прелюдия, которую он устроил на глазах у всей семьи. Я повернула к нему лицо.

— Я не ваша.

Он посмотрел на мои губы.

— Это мы тоже обсудим.

— Мой ребенок не останется здесь.

— Ты уже слышала ответ.

— Ответьте мне.

— Не сейчас.

— Потому что ваша мать права?

Его челюсть напряглась.

— Потому что если я отвечу сейчас, тебе не понравится ответ.

— А вам не понравится, что я сделаю.

В его глазах мелькнуло почти восхищение. Почти желание. Почти обещание войны, которая закончится не тогда, когда один победит, а когда оба перестанут различать, где ненависть, где похоть и кто первым потянулся за оружием. Дамиано потянулся к окровавленному ножу, но я взяла его за запястье раньше. Впервые сама коснулась. Под пальцами перекатились сухожилия, пульс бился ровно, кожа была горячей. На костяшке осталась чужая кровь. Он замер, и это крошечное прекращение движения сказало больше, чем вся бойня: мой добровольный контакт ударил по нему сильнее, чем крик Леоне. Я отвела его руку от ножа и положила на стол, продолжая удерживать.

— Я буду спать, принимать лекарства, улыбаться вашей семье и носить ваши чертовы красные платья, — прошептала я. — А потом заберу ребенка и исчезну так, что вы будете годами просыпаться от мысли, будто слышали мой голос.

Его свободная рука легла поверх моей, сжав пальцы на запястье. Не больно.

Невозможно крепко. Большой палец медленно провел по внутренней стороне, там, где кожа тонкая и пульс выдавал меня каждым бешеным ударом.

— Попробуй, — сказал он.

— Это угроза?

— Приглашение.

Он наклонился еще ближе. Между нашими губами осталось несколько сантиметров, и я увидела на его лице все то, что не замечали остальные: напряжение возле рта, расширенные зрачки, жилу на виске, голод, удерживаемый не совестью, а железной дисциплиной. Его большой палец продолжал гладить мой пульс, и от этого крошечного движения внутри меня расходились круги, тяжелые и горячие, собираясь в одной точке между ног.

— Беги от меня, Лина, — прошептал он. — Прячься. Лги. Вонзай ножи. Я хочу увидеть,

как

далеко ты уйдешь, прежде чем поймешь, что каждую дорогу вокруг тебя уже купил я.

— Нельзя купить весь мир.

— Мне не нужен весь.

Его взгляд опустился на мой живот, затем вернулся к глазам.

— Только тот, в котором находишься ты.

Он отпустил мою руку и выпрямился. Я осталась сидеть с пульсом, все еще чувствующим его палец, с влажными губами, чужой кровью на скатерти и страшным пониманием, которое было хуже любого прямого признания. Дамиано не собирался выбирать между мной и ребенком. Он собирался забрать обоих.

Глава 6. ДАМИАНО

Ее пальцы на моем запястье были хуже ножа. Не потому, что Лина держала крепко.

Наоборот. Прикосновение было почти невесомым, осторожным, добровольным — первое,

которое она подарила мне сама, не во сне, не в вине, не в ту ночь, память о которой ее разум разорвал на обрывки, а сейчас, за семейным столом, среди крови, битого фарфора и людей, боявшихся поднять глаза. Она могла оттолкнуть мою руку, могла вырвать нож и вонзить мне в горло, могла закричать, но просто обхватила пальцами запястье и отвела от оружия. А я позволил. Дамиано Монтеверде, который не позволял никому направлять даже собственный взгляд, подчинился движению тонкой женской руки. За это следовало кого-нибудь убить. Лучше себя.

Но самоубийство всегда казалось мне дурным способом решать проблемы: слишком

окончательно и непрактично. Поэтому я сидел рядом с ней, чувствовал остаточное давление ее пальцев на коже и слушал, как семья пытается вспомнить, каким образом пользоваться столовыми приборами после того, как Леоне унесли с пробитой ладонью. Вилки звякали о тарелки. Бьянка пила воду маленькими глотками. Сильвио изучал скатерть так внимательно, будто в пятнах крови было написано его будущее. Мать смотрела на меня. Она одна не отвела глаз. Изабелла никогда не боялась чудовищ, потому что считала, что лично их родила. Лина убрала руку. Медленно, словно только сейчас поняла, что касалась меня. На ее пальцах осталась кровь Леоне — темная в складках кожи, красная возле ногтей. Она посмотрела на нее и побледнела. Я видел, как дрогнули губы, как напрягся живот под платьем, как она сделала один осторожный вдох, затем второй. Альфредо сказал: никаких конфликтов. Я устроил ей публичную пытку за ужином. Прекрасно, Дамиано. Еще немного, и медицина признает тебя отдельной причиной смертности.

— Ужин закончен, — сказал я.

Никто не спросил, для кого. Стулья отодвинулись почти одновременно. Родственники вставали, не прощаясь, и выходили из зала с той торопливой сдержанностью, с какой покидают помещение, где обнаружили бомбу, но воспитание не позволяет бежать. Мать осталась сидеть.

— Красивое представление, — произнесла она.

— Тебе не понравилось?

— Ты унизил семью ради женщины, которая собирается тебя предать.

Лина застыла рядом. Я почувствовал, как ее внимание натянулось между нами.

— Она еще ничего не сделала.

— Она русская. Чужая. Ее верность заканчивается там, где начинается ее страх.

— Тогда у нас много общего.

Изабелла поднялась. Ее взгляд коснулся Лины, задержался на животе и вернулся ко мне.

— Ты думаешь, что защищаешь ее. На самом деле ты просто сообщаешь всем врагам, куда нужно ударить.

Мать ушла. Двери закрылись. В столовой остались слуги у стен, мы с Линой и кровь, медленно впитывающаяся в белую ткань.

— Она права, — сказала Лина.

— Моя мать не бывает права. Иногда ее ошибки просто долго не проявляются.

— Я собираюсь вас предать.

— Знаю.

— И сбежать.

— Это тоже.

— Вас совершенно ничего не пугает?

Я посмотрел на ее пальцы.

— Пугает.

Лина проследила за взглядом и спрятала руку в складках красного платья. Поздно. Я уже видел кровь. Уже представил ее на другой части ее тела. Между бедер. На белой простыне. Не от боли — от первого жесткого проникновения после месяцев ожидания, когда я наконец смогу войти в нее, не опасаясь ребенка, не сдерживая каждый толчок, не думая, что она носит внутри мою плоть. Представление было настолько ясным, что член налился мгновенно, тяжело уперся в брюки, а во рту появился ее вкус, которого там не было полгода. Блядь. Она беременна. Напугана. Ее мужа закопали вчера. Моя семья только что сообщила ей, что собирается отнять ребенка. А я смотрю на кровь на ее руке и думаю о том, как она будет стонать подо мной. Святой Петр уже мог не искать мое имя в

книге. Для меня там наверняка завели отдельное приложение.

— Идем, — сказал я.

— Куда?

— Смывать кровь.

— Я справлюсь сама.

— Не сомневаюсь.

Я взял ее за локоть. Не сжал, только направил к маленькой уборной за столовой, но Лина остановилась так резко, что ткань ее рукава натянулась под моими пальцами.

— Уберите руку.

Я отпустил.

— Иди сама.

Она посмотрела на меня с подозрением, будто даже выполненное требование было очередной ловушкой. Правильно. Со мной любая уступка имела цену, просто иногда счет приходил позже. Лина вошла в уборную. Я следом.

— Я не приглашала.

— Это мой дом.

— А это женская уборная.

— Сейчас здесь моя женщина. Пол комнаты временно изменился.

Она резко обернулась.

— Я не ваша женщина.

— Ты повторяешь это слишком часто. Начинаю думать, что убеждаешь себя.

— А вы слишком часто называете своим то, что вам не принадлежит.

— Все важное сначала кому-то не принадлежит.

— Какая философия у грабителя.

— У владельца.

Комната была маленькой: темный мрамор, старое зеркало в золоченой раме, одна раковина, латунный кран. Здесь нельзя было отойти далеко. Лина повернула воду и подставила руки под струю. Кровь потекла с пальцев, закрутилась розовыми нитями вокруг слива. Она терла кожу слишком сильно, ногтями царапала ладонь, будто могла снять вместе с чужой кровью ощущение от всего, что увидела.

— Хватит.

— Не командуйте.

— Ты сдираешь кожу.

— Это моя кожа.

— Да. Ты любишь напоминать.

Она потеряла сильнее. Я перехватил ее запястья и развел руки. Лина дернулась, вода ударила по нашим пальцам, брызнула на зеркало, на мою рубашку, на красное платье. Она открыла рот, чтобы сказать свое «нет», и я сразу ослабил хватку, но не отпустил полностью.

— Не держу, — сказал я. — Уйди, если хочешь.

Она могла. Мои пальцы лежали вокруг ее запястий кольцами, не сжимая. Достаточно было потянуть руки на себя. Лина не потянула. Мы стояли перед зеркалом: она впереди, я за спиной. Мое тело почти касалось ее, но между нами оставался тонкий слой воздуха, набитый запахом воды, крови, ее волос и той проклятой химии, от которой у меня с первой встречи отказывал разум. В отражении ее лицо было бледным, глаза огромными. Мой черный костюм обрамлял красное платье, словно я уже завернул ее в себя.

— Почему вы это сделали? — спросила она.

— Что именно?

— Не притворяйтесь тупым. Вам не идет.

- Мне все идет.
- Самовлюбленность особенно.
- Леоне оскорбил тебя.
- Людей не прибавляют к столу за слова.
- В моем доме прибавляют.

Я переместил обе ее руки под воду. Большими пальцами провел по ладоням, смывая кровь из линий. Кожа у нее была мягкой и холодной, пальцы дрожали. Я развернул правую кисть и медленно очистил каждый ноготь. Движения получались почти нежными,

и

именно поэтому выглядели непристойнее, чем если бы я поднял ей юбку. Нежность от моих рук была противостественной. Эти руки ломали суставы, держали оружие, подписывали приказы, после которых людей находили без лиц. А сейчас большой палец гладил центр ее ладони, и Лина смотрела в зеркало так, будто ощущала это между ног. Я тоже ощущал. Каждое ее содрогание проходило прямо в член.

- Вы защищали не меня, — сказала она.
- Нет?
- Свою собственность. Так мужчина бьет другого за царапину на машине.
- Машины не спорят.
- Вам было бы удобнее.
- Мне было бы скучно.

Я выключил воду. Тишина навалилась сразу, и в ней стало слышно наше дыхание. Капля сорвалась с ее мизинца, пробежала по внутренней стороне запястья. Я поймал ее большим пальцем и растер по коже. Пульс Лины ускорился. Она увидела в зеркале, что я заметил.

- Не смотрите.
- Куда?
- На меня.
- Это будет сложно. Ты стоишь передо мной.
- Вы понимаете, о чем я.
- Хочу услышать.

Лина выдернула левую руку, но правая осталась в моей ладони. Может быть, забыла. Может быть, не решилась признать, что не хочет забирать. Я медленно поднял ее кисть. Не к губам — я не целовал пальцы, не превращал кровь в дешевый символ. Просто прижал ее ладонь к своей груди, поверх рубашки, туда, где сердце билось тяжелее обычного.

- Чувствуешь?
- Ее пальцы дрогнули.
- Что?
- То, чего, по мнению моей семьи, у меня нет.
- Сердце?
- Проблему.
- Я ваша проблема?
- Самая дорогая.

Она сглотнула. Ее ладонь оставалась на моей груди, и я чувствовал тепло сквозь ткань, каждую фалангу, слабое давление ногтей. Если бы сдвинулся на полшага, моя эрекция прижалась бы к ее пояснице. Если бы наклонился, губы легли бы на шею в том месте, где под кожей бился пульс. Если бы провел ладонью вниз, по животу, под его тяжесть, и еще ниже, между бедер, я бы узнал, насколько честно ее тело отвечает на мой голос. Я не сделал ничего. Только смотрел на нее в зеркале и позволял понять, что мог

бы. Это было грязнее прикосновения. Воображение всегда знает самые опасные места.

— Вы специально, — прошептала она.

— Что?

— Стоите так.

— Как?

— Близко.

— Я еще далеко, vedova.

Ее ресницы дрогнули. Я наклонился к уху, не касаясь волос губами.

— Когда буду близко, ты не перепутаешь.

— Самоуверенный ублюдок.

— Наконец-то комплимент.

— Я вас ненавижу.

— Знаю.

— И никогда не позволю...

— Не обещай того, что твое тело уже ставит под сомнение.

Она развернулась так быстро, что живот коснулся меня прежде, чем мы оба успели отступить. Мой ребенок оказался между нами. Не метафора. Не идея. Теплая округлость под красной тканью прижалась к моему животу, и внутри произошло движение — слабый,

но отчетливый толчок. Я замер. Лина тоже. Ее глаза расширились. Ребенок толкнулся еще

раз, прямо туда, где мое тело соприкасалось с ее. Все похотливые мысли исчезли не потому, что я стал лучше. Их смело чем-то более сильным и более страшным.

Осознанием плоти. Моей крови. Жизни, которую я создал в женщине, не имевшей понятия, кто именно оставил ее там. Рука сама легла на ее живот. Лина не успела остановить. Под ладонью было тепло. Ткань натянулась, ребенок снова шевельнулся, и меня ударило изнутри с такой силой, что на секунду я перестал слышать. Порты, деньги, убийства, фамилия, мать, мертвый брат — все стало шумом за толстой стеной. Остались ее живот под моей рукой и невозможная мысль: он знает меня.

— Уберите, — сказала Лина.

Я убрал ладонь сразу. Но слишком поздно. Она увидела мое лицо. Я понял по тому, как смягчились ее глаза. Всего на секунду. Жалость или удивление, не знаю. Любое из них

было невыносимо.

— Никогда так на меня не смотри, — произнес я.

— Как?

— Будто во мне осталось что-то, что можно спасти.

Я вышел прежде, чем она ответила. На улице ждал дождь. Доктор Этторе Валенти жил в сорока километрах от виллы, в маленьком доме над морем, купленном на деньги Монтеверде за молчание. Восемь лет назад именно он поставил Алессандро диагноз. Я забрал результаты, уничтожил записи в клинике, перевел медсестру в Швейцарию и объяснил Валенти, что некоторые болезни опаснее для врача, чем для пациента. С тех пор мы не виделись. Сегодня утром он позвонил сам. «У меня осталось кое-что, синьор Монтеверде. После смерти вашего брата я считаю, что вы должны знать». Люди не звонят мне с такой фразой, если хотят спокойно состариться. Когда я приехал, Валенти стоял в гостинной в домашнем кардигане и держал стакан воды двумя руками. Семьдесят один год. Белые волосы. Печень больная. Один сын в Милане, внучка учится в Париже. Я знал о нем все, включая пароль от банковского счета и имя женщины, с которой он изменял жене в девяносто восьмом.

— Вы пришли один, — сказал он.

— Тебя это успокаивает?

— Нет.

— Значит, старость не лишила тебя разума.

Он указал на кресло. Я остался стоять.

— Где бумаги?

— Сначала вы должны выслушать.

— Ты путаешь условия с последними желаниями.

Валенти поставил стакан. Вода выплеснулась ему на пальцы.

— Диагноз Алессандро не изменился. Азооспермия была необратимой. Вы знали это.

— Ради этой новости ты вытащил меня ночью?

— Нет. Ради того, что он знал тоже.

В комнате стало тихо. За окном море било в камни. Медленно, равнодушно, с той древней уверенностью, которой обладают только стихии и очень старые враги.

— Повтори.

— Ваш брат узнал. Через несколько лет после первого обследования. Он пришел ко мне сам. Сказал, что хочет повторить анализы перед тем, как они с женой начнут планировать ребенка.

— Когда?

— Семь месяцев назад.

За месяц до того, как Лина забеременела. Я подошел к Валенти. Он отступил, но за спиной был стол.

— Ты сделал анализ?

— Дважды. Результат тот же. Полное отсутствие живых сперматозоидов. Естественное зачатие исключено.

— И ты сообщил ему.

— Да.

— Почему я не узнал?

Старик побледнел.

— Он заплатил за молчание.

Я засмеялся. Один раз. Без веселья.

— Моими деньгами?

— Синьор...

— Мой брат купил у моего врача молчание на мои деньги, а ты решил, что это сделка?

Я взял его за горло. Не сильно. Пока. Большой палец лег под челюсть, остальные сомкнулись на затылке. Валенти захрипел, пальцы вцепились в мой рукав.

— Что еще?

— Он... просил варианты...

Я ослабил хватку.

— Какие?

— Донор. Клиника за границей. Он хотел, чтобы синьора забеременела и считала ребенка его.

Кровь стала холодной. Алессандро знал. Не просто скрывал свою бесплодность.

Планировал вложить в Лину чужого ребенка, оставить ей ложь вместо согласия, а потом улыбаться над колыбелью. Мой мягкий, красивый, безобидный брат оказался Монтеверде

именно там, где я меньше всего ожидал: он тоже считал, что женщина не обязана знать, чью кровь носит. Нас с ним разделяло только одно. Он собирался сделать это инструментами врача. Я уже сделал собственным телом. От этой мысли пальцы на горле

старика сжались сами.

— Бумаги.

Валенти указал на книжный шкаф. За медицинской энциклопедией оказался плоский сейф. Он назвал код. Внутри лежал конверт, а в нем — два заключения, платежная квитанция и согласие на консультацию по донорской программе. Подпись Алессандро. Я знал каждый ее изгиб. Он подписывал ею доверенности, контракты, чеки, письма матери. Теперь подпись стояла под доказательством того, что мой брат знал правду и готовил для Лины новую ложь.

— Почему сохранил?

— Страховка.

— От кого?

Он посмотрел на мою руку у своего горла.

— От вас.

Я отпустил и поправил ему воротник.

— Плохая страховка. Она привела меня к тебе.

— Вы убьете меня?

— Нет.

Надежда на его лице была жалкой.

— Ты будешь жить и каждый день ждать, что я передумал. Это полезнее смерти. Если хоть одна копия существует еще где-то, если твой сын, жена, нотариус или священник получают письмо, я уничтожу не тебя. Всю фамилию Валенти. Медленно, чтобы ты успел узнать о каждом.

— Клянусь, больше ничего нет.

— Теперь я тоже на это надеюсь.

Я забрал конверт и уехал. На вилле было за полночь. Дом затих, но у комнаты Лины горела тонкая полоса света под дверью. Я шел мимо и услышал ее дыхание. Не плач. Она не позволяла себе плакать вслух. Короткий вдох, пауза, еще один, слишком осторожный, будто каждый причинял боль. Потом шепот на русском. Я не разобрал всех слов, только «малыш», «не отдам» и свое имя, произнесенное так, что у меня заболели зубы. Дамиано. Не с желанием. С ненавистью. Но ненависть хотя бы оставляла мне место в ее голове. Я остановился. В кармане лежала бумага, способная раздавить последние остатки ее брака. Если войду и покажу, Лина узнает: Алессандро был бесплоден. Алессандро знал. Ребенок не мог быть его. Следующий вопрос приведет к той ночи. К моим рукам. К ее провалам в памяти. Ко мне. Я мог открыть дверь и положить правду между нами. Не открыл. Не из милосердия. Я просто хотел еще одну ночь, в которой она ненавидит меня не за все.

За дверью Лина снова втянула воздух, подавляя всхлип. Моя ладонь легла на ручку. Я представил, как войду, сяду рядом, положу ее голову себе на грудь, проведу пальцами по волосам. Представил слишком хорошо. Она будет сопротивляться, потом устанет, дыхание выровняется, живот прижмется к моему боку. Я смогу касаться ее без грязи, без приказов, без зрителей. Ложь. В моих руках даже ласка становилась способом удержать. Я убрал ладонь и ушел в кабинет. В сейфе лежало старое заключение, то, которое я считал единственным. Рядом — «Беретта», запасной магазин, документы на порт и фотографии людей, которых еще предстояло похоронить. Я положил новый конверт поверх старой бумаги. Два анализа. Две даты. Подпись мертвого брата. И правда, которая могла уничтожить Лину сильнее любого оружия в этом стальном ящике. Я закрыл сейф. Повернул ключ. За стеной она плакала без звука, а я впервые понял: самое опасное оружие в моем доме уже заряжено. И пуля в нем предназначалась не врагу.

Глава 7. ЛИНА

Телефон я нашла на второй день.

Не мобильный, не блестящий, не современный, не тот маленький прямоугольник жизни, который у меня отняли вместе с паспортом и кошельком, а старый, стационарный, тяжелый, почти музейный аппарат цвета слоновой кости, спрятанный в узкой комнате между библиотекой и служебной лестницей. Такие телефоны обычно ставят в фильмах в домах, где люди пьют виски из хрусталя, изменяют супругам в шелковых халатах и звонят адвокатам после того, как в кабинете кто-то случайно перестал дышать. Он стоял на маленьком письменном столе под лампой с зеленым абажуром, весь такой приличный, молчаливый, со скрученным проводом, похожим на свернувшуюся в кольца змею, и мне хватило одного взгляда, чтобы внутри меня что-то дернулось так резко, будто под ребра вонзили крюк и потянули вверх.

Связь.

Не свобода. Нет. До свободы было далеко, между мной и ней лежали ворота, люди с оружием, камеры, фамилия Монтеверде и человек, который умел превращать любое расстояние в собственность. Но связь — это уже не пустота. Это уже не моя комната, не безмолвный мрамор, не чужие стены, которые слушают, как я дышу. Это голос. Мамин голос. Один гудок, второй, третий, и потом ее сонное, встревоженное: «Линочка?» — потому что в Ростове в это время была ночь, и мама всегда пугалась ночных звонков, сколько бы лет мне ни было, как будто материнское сердце никогда не подписывало договор с логикой и продолжало ждать беду у каждой телефонной вибрации.

Я стояла в проеме двери и смотрела на этот аппарат как на нож, который можно спрятать под подолом. Руки вспотели мгновенно, ладони стали влажными, пальцы — деревянными, и ребенок внутри меня толкнулся один раз, негромко, но точно, будто спрашивал: ну? Ты ведь не просто так учила этот дом по шагам, не просто так считала охрану, не просто так улыбалась Аделаиде, пока она забирала твою жизнь по предметам? Я прижала ладонь к животу и закрыла глаза на секунду. Нельзя торопиться. В доме Монтеверде даже стены, вероятно, имели глаза, а если не глаза, то уши, а если не уши, то хотя бы хозяина, который видел больше, чем нормальный человек имеет право видеть. Я нашла телефон утром, когда Аделаида принесла новые платья и сообщила, что доктор рекомендовал прогулки в саду. Рекомендовал. Как мило. В этом доме даже све-

жий

воздух подавали как лекарство по рецепту, дозированно, под наблюдением и с разрешения мужчины, который вчера в столовой разнес Леоне лицо об тарелку, а потом смотрел на меня так, будто кровь на моих пальцах была не случайностью, а началом какого-то темного обряда между нами. Я не забыла его руку. Не забыла, как он мыл с меня чужую кровь, как вода бежала по запястьям, как его пальцы удерживали меня не силой даже, а точностью, и как ребенок толкнулся между нами в тот момент, когда его ладонь легла на мой живот.

Его ладонь.

Господи, как я ненавидела себя за то, что помнила не только ужас. Я помнила вес. Тепло. То, как его большая рука накрыла меня почти целиком, как под ней на секунду стало тихо, не безопасно — нет, с Дамиано Монтеверде безопасность была тем же словом, что и ошейник, только отполированным до блеска, — а тихо. Будто весь мой внутренний вой сорвался в глухую яму и не успел выбраться обратно. Я ненавидела это воспоминание так сильно, что от него мутило. Потому что правильная женщина, нормальная женщина, вдова, беременная, запертая в доме мафии, должна помнить только страх. Только отвращение. Только желание вырвать у него сердце и показать ему,

как выглядит орган, которого у него никогда не было. А я помнила еще и его запах у своей шеи, и низкий голос возле уха, и то, как мое тело сжималось от близости, как предатель, уже подписавший капитуляцию, пока разум еще махал порванным флагом.

Поэтому я улыбнулась Аделаиде, взяла платя, сказала по-итальянски, что мне нужно немного пройтись, и позволила ей поверить, будто послушная русская вдова наконец начала смиряться с режимом. Она поверила не полностью — у таких женщин вера всегда стоит на подножке подозрения, — но дверь оставила открытой. Охранника у порога больше не было. Дамиано убрал его, и это почему-то бесило сильнее, чем если бы оставил. Потому что каждый подарок от него имел шипы. Убрал человека — оставил камеру. Дал воздух — оставил стены. Разрешил выйти — оставил вокруг меня невиди-

мый

круг, за который никто не переступал, но все знали, где он начерчен.

Я шла медленно. Не потому что слабость еще тянула из меня силы, хотя тянула; тело было ватным, сердце иногда билось слишком быстро, в ушах звенело, а ноги к вечеру наливались тяжестью, будто я носила не ребенка, а целый маленький мир, который с каждым днем требовал все больше крови, железа, воздуха и моей веры. Я шла медленно потому, что в этом доме спешка была признанием намерения. Спешат те, кто бежит. А я пока не бежала. Я осматривала поле боя.

Библиотека оказалась почти пустой. Высокие стеллажи, темное дерево, лестница на колесиках, книги на трех языках, запах старой бумаги, кожи и пыли, которую не могла победить даже идеальная прислуга Монтеверде. Я прошла вдоль стеллажей, провела пальцами по корешкам, на секунду задержалась у русских книг — Толстой, Достоевский, Набоков в дорогих изданиях, будто кто-то когда-то купил Россию в кожаном переплете и поставил на полку между французской поэзией и юридическими справочниками.

Смешно.

Унизительно смешно. Моя страна здесь была декоративной. Моя жизнь — тоже.

Комната с телефоном находилась за тяжелой портьерой. Случайно ее не заметишь. Я заметила. Потому что за три года с Алессандро научилась смотреть туда, куда не смотрят женщины, которым отвели роль красивого приложения к фамилии: в щели между шторами, на ключи у пояса прислуги, на отражения в стекле, на двери без табличек, на провода, идущие вдоль плинтуса. Внутри никого не было. Только стол, лампа, телефон, маленькая записная книжка в кожаной обложке и пепельница, чистая, пустая, но пахнувшая табаком. Его табаком. Я узнала этот запах сразу, как узнают яд, однажды попавший в кровь.

Я закрыла дверь. Не до щелчка, оставила тонкую щель. Потом подошла к столу и подняла трубку.

Гудок был.

Такой обычный, ровный, скучный звук, что у меня едва не подогнулись колени. Я вцепилась свободной рукой в край стола, наклонилась вперед и зажмурилась, потому что если сейчас расплачусь, то не наберу номер, а я должна набрать, должна, пока кто-то не вошел, пока система не моргнула, пока Дамиано не почувствовал своим проклятым звериным чутьем, что одна из его стен дала трещину. Мамин номер я помнила наизусть. Сначала российский код, потом город, потом цифры, которые когда-то казались бытовыми, неважными, просто набором, а теперь стали молитвой, выцарапанной из памяти ногтями.

Первый гудок.

Я перестала дышать.

Второй.

Горло сжалось так, что стало больно глотать. Перед глазами вдруг вспыхнула наша

кухня в Ростове: клеенка с лимонами, мамина чашка с отколотой ручкой, окно, на котором

она выращивала зеленый лук в стакане, старый радиоприемник, запах жареного лука, дешевый крем для рук, ее ладони — мягкие, теплые, с тонкими венами. Я вдруг поняла, что не помню, когда последний раз касалась этих ладоней. Не помню точного дня. Не помню, во что была одета мама, когда мы прощались. Не помню, обняла ли я ее достаточно крепко, или торопилась, потому что Алессандро ждал в машине и раздражался, когда моя русская жизнь слишком долго цеплялась за его итальянское расписание.

Третий гудок.

Щелчок.

— Алло? — хрипло, сонно, далеко, так далеко, что меня разорвало изнутри.

— Мама, — выдохнула я.

И больше ничего не смогла. Одно слово вырвалось из меня не голосом даже, а кровью, как будто все, что я держала эти дни — похороны, Изабеллу, Дамиано, отнятые документы, страх за ребенка, эту роскошную осаду, в которой меня называли синьорой, пока запирали, — все это поднялось к горлу и встало там комом, большим, живым, пульсирующим. Я зажала рот ладонью, но поздно. Всхлип все равно просочился между пальцев.

— Лина? Лина, девочка? Господи, что случилось? Ты плачешь? Где ты?

Я открыла рот. Хотела сказать: мама, они забрали паспорт. Мама, Алессандро умер. Мама, я беременна, и они хотят забрать моего ребенка. Мама, здесь человек, который смотрит на меня так, будто уже знает, как я звучу, когда ломаюсь. Мама, я боюсь не только его силы, я боюсь того, что со мной происходит рядом с ним. Хотела сказать все сразу, захлебнуться, вывалить правду на эту тонкую телефонную нить, чтобы она полетела через страны, через границы, через чужие законы и упала маме в руки тяжелым, кровавым комком.

Не успела.

Дверь распахнулась без стука.

Охранник вошел первым. Тот самый Марко, высокий, широкоплечий, с лицом человека, которому платят не за мысли, а за отсутствие сомнений. Он увидел трубку у моего уха и изменился мгновенно: не испугался, нет, такие не пугаются женщин, они пугаются только начальства, но тело собралось, рука дернулась к наушнику, и в этом движении я увидела весь дом Монтеверде — быстрый, обученный, безжалостный.

— Синьора, положите трубку.

Я отступила на шаг и вцепилась в провод.

— Не подходи.

— Синьора...

— Я сказала, не подходи!

В трубке мама почти кричала мое имя. «Лина! Лина, что происходит? Кто там? Ответь мне!» Ее голос бился о мое ухо, как птица о стекло, и от этого я обезумела окончательно. Не красиво, не трагично, не как героини в книгах, которые плачут так, что у них только ресницы дрожат. Нет. Во мне что-то треснуло грубо, некрасиво, по-живому. Я схватила тяжелую пепельницу со стола и подняла ее перед собой.

— Еще шаг, и я разобью тебе лицо.

Марко остановился. Не из страха за лицо. Из расчета. Беременная женщина с пепельницей — плохая картинка для отчета, особенно если хозяин дома потом спросит, почему у нее снова стресс, почему давление, почему руки дрожат. Я это видела. Я научилась читать мужчин, которые служат чужой власти: они всегда думают не о морали,

а о последствиях для себя.

— Лина! — мамин голос сорвался. — Лина, ответь!

— Мама, — я всхлипнула, прижимая трубку сильнее. — Мама, слушай...

Марко шагнул.

Я бросила пепельницу.

Она ударилась о стену рядом с его головой и разлетелась на тяжелые стеклянные осколки. Один вспорол ему щеку тонкой красной линией. Он выругался, и в тот же миг в комнате стало холодно. Не от воздуха. От тишины, которая вошла раньше него.

Дамиано появился на пороге так быстро, будто действительно почувствовал. Не услышал сигнал охраны, не получил сообщение, не увидел на камере. Почувствовал. Как чувствуют пожар за стеной, кровь в воде, чужую руку на своем горле. Он стоял в темном костюме без галстука, с расстегнутой верхней пуговицей рубашки, и его лицо было спокойным до ужаса, но это спокойствие не имело ничего общего с миром. Так выглядит море за секунду до того, как оно забирает берег.

— Выйди, — сказал он Марко.

— Синьор, она...

— Выйди.

Марко вышел. Дверь закрылась. Мамин голос все еще рвался из трубки, маленький, далекий, обезумевший.

— Лина? Лина, кто это? Где ты?

Я смотрела на Дамиано и не могла опустить трубку. Он не двигался несколько секунд. Просто смотрел. На мое лицо, на трубку, на провод, на осколки, на тонкую кровь на полу, оставленную Марко, потом снова на меня. В его глазах не было ярости. Вот что было хуже всего. Ярость можно пережить, на нее можно ответить, ее можно ударить. А в нем было решение. Тихое, страшное, уже принятое.

— Положи трубку, Лина.

— Нет.

— Сейчас.

— Пошел к черту.

Он медленно закрыл глаза. На одну секунду. Когда открыл, я поняла, что если бы в комнате был кто-то еще, этот кто-то перестал бы быть проблемой уже на первом вдохе. Но я была одна. Беременная. С его ребенком. С его тайной в животе, о которой я еще не знала, но которую, наверное, мое тело чувствовало раньше меня, потому что ребенок вдруг затих так резко, будто тоже вслушался.

— Мама, — сказала я в трубку, не отводя взгляда от Дамиано. — Если связь оборвется...

Он шагнул.

Я отступила.

Стол уперся мне в бедро. Бежать было некуда. Телефонный провод натянулся между аппаратом и моей рукой, черной витой петлей на светлой столешнице, и Дамиано посмотрел на него с таким выражением, будто решал, что проще: вырвать провод из стены или вырвать саму стену. Потом подошел. Медленно. Не броском. Не как мужчина, которому нужно физически отобрать трубку. Как человек, который позволяет тебе уви-

деть

неизбежность заранее, чтобы ты успела возненавидеть каждую секунду ее приближения.

— Не трогайте меня.

Он остановился в полушаге.

Моя грудь вздымалась так часто, что ткань платья липла к коже. Я чувствовала собственные соски, затвердевшие от страха, от холода, от него, от этой проклятой близости, и ненавидела их, ненавидела грудь, живот, бедра, рот, все тело, которое опять

становилось слишком живым в момент, когда должно было окаменеть. У Дамиано взгляд опустился на секунду. Не грубо. Хуже. Точно. Он заметил все. Как всегда. Каждую дрожь, каждый вдох, каждую маленькую сдачу, которую я не подписывала, но тело оформляло за моей спиной.

— Я не трогаю, — сказал он.

И это было правдой. Его рука поднялась не ко мне, а к проводу. Пальцы сомкнулись на витом шнуре, потянули. Трубка дернулась в моей ладони. Мамин голос вспыхнул в ухе:

— Лина!

— Не смейте, — прошептала я.

— Уже.

Он выдернул провод из аппарата.

Связь умерла. Не с драмой, не с треском, не с музыкой, а коротким сухим щелчком.

Просто щелк — и мамы больше не было. Не было ее кухни, ее рук, ее испуганного голоса. Только я, Дамиано, мертвый телефон и мой собственный крик, который родился где-то под диафрагмой, поднялся вверх и застрял, потому что я не могла кричать. Если закричу — он победит. Если разрыдаюсь — он победит. Если упаду — он победит. И от этой

мысли

я сделала единственное, на что еще была способна: ударила его.

Ладонью по лицу.

Звук получился звонкий, почти красивый. Его голова повернулась на несколько сантиметров. На щеке тут же проступил мой след — красный, неровный, живой. Я замерла с поднятой рукой, дыша ртом, чувствуя, как ладонь горит, как сердце лупит в ребра, как ребенок снова шевельнулся внутри, будто от толчка. Дамиано медленно повернул лицо обратно.

— Еще раз, — сказал он тихо, — и я начну думать, что тебе нравится проверять, насколько я терпелив.

— А вы начните думать, что я вас ненавижу. Для разнообразия.

— Я не сомневался.

— Тогда почему вы все еще здесь?

Он усмехнулся одним уголком губ. От этой усмешки у меня пересохло во рту так резко, будто язык обсыпали пеплом. Она была не веселой, не красивой, не человеческой. В ней было что-то неприличное, голодное, слишком уверенное. Мужчина, которому только что дали пощечину, должен разозлиться. Дамиано выглядел так, будто я не ударила его, а коснулась. И от этого меня прошило жаром до самого низа живота, грязным, невозможным, предательским. Соски ныли под тканью, белье стало влажнее, чем секунду назад, и я так сильно возненавидела эту физику, что захотелось ударить его снова — уже не за телефон, а за то, что мое тело отвечало ему быстрее, чем моя ярость.

— Потому что ненависть держит крепче благодарности, vedova.

— Не называйте меня так.

— Вдовой?

— Так.

— Почему? Напоминает, кому ты принадлежала?

— Я никому не принадлежала.

— Лжешь.

Он сказал это почти ласково. Почти. Но в этом «лжешь» была не нежность, а нож под шелком. Я сжала пальцы в кулаки.

— Вы не знаете обо мне ничего.

— Я знаю, что ты врешь, когда боишься. Знаю, что злишься сильнее, когда хочешь спрятаться. Знаю, что перед тем как заплакать, ты кусаешь внутреннюю сторону щеки.

Знаю, что сейчас у тебя во рту вкус крови.

Я вздрогнула. Потому что он был прав. Я действительно прокусила щеку и почувствовала металлическую горечь только теперь, когда он сказал. Дамиано сделал еще один шаг. Я отступила, но позади была дверь. Не та, через которую он вошел, а боковая, узкая, ведущая в библиотеку. Спинай я уперлась в дерево, и он остановился передо мной, не касаясь. Его рука легла на косяк возле моей головы. Не на плечо. Не на горло. Не на талию. На косяк. И этого оказалось достаточно, чтобы воздух вокруг меня стал его.

Запах дорогого табака, холодной кожи, кофе и мужского тела накрыл меня густой волной. Я попыталась вдохнуть через рот, но стало только хуже: я будто попробовала его на вкус. Горький, темный, наглый. Непозволительный. У меня закружилась голова, и я не знала, от анемии, от страха или от того, что между нашими телами осталось так мало пространства, что мой живот почти касался его рубашки. Почти. Это «почти» было пыткой.

Хуже прикосновения. Потому что прикосновение можно было бы осудить, оттолкнуть, назвать насилием, а здесь не было ничего. Только расстояние, в котором мое тело сходило с ума само.

— Вы отняли у меня единственный звонок, — сказала я, и голос предательски дрогнул на последнем слове. — Единственный.

— Я не позволю тебе втянуть мать в это.

— В это? — Я засмеялась. Хрипло, некрасиво. — В мою жизнь? В мою беременность? В то, что вы держите меня здесь без документов?

— В войну.

— Я не просила вашей войны.

— А она не спрашивает, кого брать.

— Как удобно. Вы называете войной все, что помогает вам быть мерзавцем.

Его взгляд потемнел. Вот теперь я попала. Почувствовала это кожей, до того как поняла головой. Дамиано наклонился чуть ближе, и его голос оказался у моего виска, низкий, глухой, едва слышный, от него мелкие волосы на шее поднялись, а колени предательски ослабли.

— Если бы я был просто мерзавцем, Лина, твоя мать уже знала бы, где ты. Ей прислали бы фотографии твоей комнаты, расписание врачей, твои подписи на документах, которых ты не помнишь, и она бы сама умоляла тебя сидеть тихо, потому что в противном случае на ее лестничной клетке однажды появился бы человек, который очень вежливо объяснил бы ей цену материнской паники. Я не делаю этого. Пока. Не заставляй меня становиться честнее.

Меня затошнило. Не от беременности. От него. От того, как спокойно он говорил о моей матери, о лестничной клетке, о человеке, который может прийти в Ростове просто потому, что Дамиано Монтеверде решил закрыть мне рот. И одновременно — Господи, одновременно — от его голоса у виска меня вело куда-то вниз, в темное, стыдное место, где страх и желание перепутывались так плотно, что я уже не могла разделить одно от другого. Я хотела ударить его снова. И хотела, чтобы он еще на сантиметр наклонился ближе. Хотела сбежать. И хотела узнать, что будет, если не сбегу.

— Вы чудовище, — прошептала я.

— Да.

Без паузы. Без спора. Без тени раскаяния. Это «да» ударило сильнее любой угрозы.

Нормальный мужчина возмутился бы, начал бы оправдываться, объяснять обстоятельства, сложность мира, долг семьи, опасность врагов. Дамиано просто согласился. Да, чудовище. И что ты с этим сделаешь, Лина? Куда денешь желание, если

оно проснулось не рядом с человеком, а рядом с чудовищем?

Я подняла подбородок. Движение было маленьким, жалким, но единственным, что у меня осталось. Его взгляд опустился на мои губы.

И все во мне остановилось.

Не сердце — оно как раз ударило так сильно, что боль прошла в спину. Остановилась мысль. Исчезла комната, телефон, осколки, Марко, мама, даже ребенок на секунду стал тишиной внутри меня. Остались только его глаза на моем рту. Я почувствовала свои губы не как часть лица, а как отдельную рану. Они пересохли, и я машинально провела по нижней языком. Ошибка. Страшная, глупая, животная ошибка. Потому что его взгляд изменился.

Он не коснулся меня.

Но я почувствовала этот взгляд так, будто его большой палец прошел по моей нижней губе, оттянул ее вниз, заставил раскрыться. Я перестала дышать. Он наклонился еще. На миллиметры. Его рот оказался так близко, что я увидела маленький шрам на верхней губе, тонкий, почти незаметный, и почему-то именно эта деталь сломала меня сильнее всего. Не власть, не угроза, не фамилия, не кровь на чужой щеке. Шрам. Живое доказательство, что его тоже когда-то били, резали, ранили, и он выжил не потому, что был неуязвимым, а потому что стал хуже раны.

— Дамиано, — выдохнула я.

Его имя сорвалось само. Не «синьор Монтеверде». Не «вы». Имя. Голое, опасное, слишком интимное для женщины, которая только что пыталась дозвониться матери и обвиняла его в чудовищности. Его ноздри чуть дрогнули, рука на косяке сжалась так, что дерево тихо скрипнуло.

— Не произноси мое имя так, если хочешь, чтобы я оставался на этой стороне приличия.

— У вас есть приличие?

— Нет. Поэтому не провоцируй.

— Вы боитесь?

Он посмотрел мне в глаза. Медленно. Тяжело. Так, что я снова почувствовала себя не человеком, а дверью, которую он уже открыл внутри своей головы.

— Боюсь только одного.

— Чего?

— Что однажды ты перестанешь говорить «не трогайте».

В комнате стало невыносимо жарко. У меня вспыхнули щеки, грудь, живот, все тело, будто кровь разом поднялась к коже и потребовала выхода. Это было грязно. Нельзя. Нельзя было так реагировать на фразу, в которой было столько власти, столько знания, столько темного терпения. Но тело снова предало меня. Соски ныли под тканью, между бедер потянуло глухой тяжестью, и я от этого почти возненавидела ребенка внутри себя, потому что он не позволял мне отступить резко, резко ударить коленом, резко убежать. Я была медленнее, тяжелее, уязвимее, и Дамиано это видел. Видел все.

— Я никогда не перестану, — сказала я.

— Никогда — красивое слово. Женщины говорят его, когда еще не знают цену.

— А мужчины вроде вас назначают цену всему, даже тому, что не продается.

— Ошибаешься. Самое ценное не продается. Его забирают, удерживают, защищают и иногда разрушают, потому что иначе его возьмет кто-то другой.

— Вы называете это защитой?

— Я называю это миром, в котором ты теперь живешь.

— Я в нем не останусь.

Он чуть улыбнулся. Почти незаметно. И эта улыбка не обещала ни милости, ни понимания, ни красивой дороги к свободе. Она обещала долгую, изматывающую войну,

где каждое мое «нет» он будет запоминать, пробовать на вкус и оставлять на потом.

— Тогда учись уходить так, чтобы я не захотел догнать.

— А если захотите?

— Догоню.

Я слотнула. Слюна прошла по горлу болезненно, как проглоченный осколок. Он все еще смотрел на мои губы. Я видела, как его контроль натянут до предела, не потому что он благородный, а потому что ему нравилось держать предел в руках, нравилось показывать мне, что даже собственный голод у него подчиняется приказам. От этого было еще страшнее. Мужчина, который срывается, слаб. Мужчина, который хочет сорваться и не срывается, потому что выбирает момент, — опаснее в сто раз. И я вдруг поняла, что если он поцелует меня сейчас, я не просто испугаюсь. Я отвечу. Ртом, дыханием, влажностью между бедер, всей той проклятой частью себя, которую не могла запереть ни в одной комнате.

— Отдайте мне телефон, — сказала я.

— Нет.

— Паспорт.

— Нет.

— Деньги.

— Нет.

— Тогда что у меня есть?

Он задержал взгляд на моем лице, потом медленно опустил его на живот. Не похотливо. Не так, как смотрел на губы. И от этого стало страшнее. В этом взгляде была такая голая, древняя, звериная собственность, что мне захотелось закрыться руками,

хотя

живот и так был под платьем, под кожей, под ребрами, под моей жизнью.

— Время, — сказал он. — Пока ты его тратишь на войну со мной.

— А вы на что тратите свое?

— На то, чтобы не взять больше, чем ты сейчас способна выдержать.

Я задохнулась. Не потому что фраза была грубой. Потому что она была слишком честной. Из всех его угроз эта ударила глубже всего: в ней не было маски. Он действительно стоял передо мной и сдерживал себя, и это сдерживание было почти физическим, плотным, как стена, в которую я упиралась спиной. Я вдруг поняла, что между нами сейчас нет морали. Нет закона. Нет Алессандро. Нет Изабеллы. Нет даже моей матери на оборванной линии. Есть только он, я и тонкая граница, которую он пока

не

переступает не потому, что нельзя, а потому, что решил оставить мне возможность ненавидеть его стоя.

— Не смотрите на меня так, — прошептала я.

— Как?

— Как будто я уже ваша.

Дамиано молчал несколько секунд. Его взгляд поднялся от моих губ к глазам, и в нем стало так тихо, так темно, что у меня внутри что-то болезненно сжалось, будто ребенок, сердце и страх на мгновение стали одним органом.

— Ты живешь в моем доме, носишь ребенка моей крови и дышишь моим воздухом, Лина. Не заставляй меня отвечать честно.

Глава 8. ДАМИАНО

Я ушел от нее с вкусом крови во рту, хотя кровь была не моя. Пощечина Лины горела

на щеке ровным, наглым, почти интимным пятном, и это бесило сильнее, чем если бы она вонзила мне нож под ребро. Нож я понял бы. Нож — честный разговор: металл, боль, ответ. А ее ладонь оставила на коже не рану, а след, и этот след жил собственной мерзкой

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.